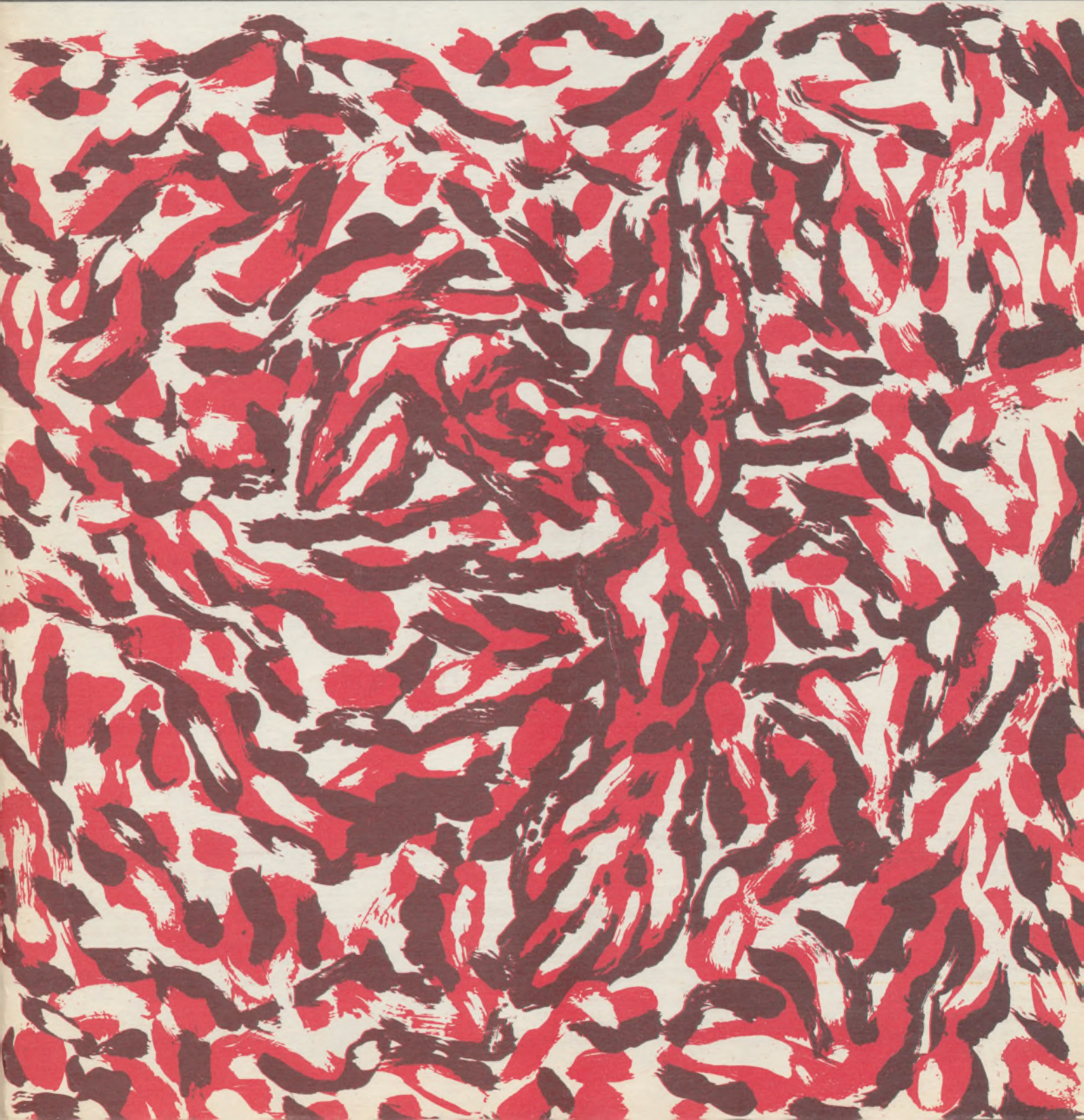


1989. № 10 (34)
ОКТЯБРЬ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЕЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



РОДНИК

«АВОТС» [«РОДНИК»] ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Гунарс Салиньш. Стихи (8)
Дэвид Джоунз. «Поэзия в театре» (10)
Томас Стернс Элиот. Стихи (16)
Александр Чак. Стихи (20)
Лев Рубинштейн. «На этот раз...» (26)
Александр Щёголев. «Как я
провёл лето» (28)
«Одно стихотворение» (30)

КУЛЬТУРА

- Вилнис Бириньш. «Тюрьма — государство в
государстве» (32)
Антоний Мархель. «Cassiber» — послание
в СССР» (37)
Оярс Спаритис. «Блеск имён Курляндских
герцогов» (41)
Андрей Левкин. «Почему я не
интеллигент?» (46)
Андрейс Кауфманис. «Beardsley...
crazy» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Ирина Ратушинская. «Серый — цвет
надежды» (53)
Лев Тимофеев. «Я тоже ведь почти
роман» (62)
Вилнис Зариньш. «Идейные
предшественники национал-социализма
в XX столетии» (67)

ЛИТЕРАТУРА

- Елизавета Куциня. «... ун neatкаригу!» (72)
Евгения Ошуркова. Стихи (73)
М. Агеев. «Роман с кокаином» (74)

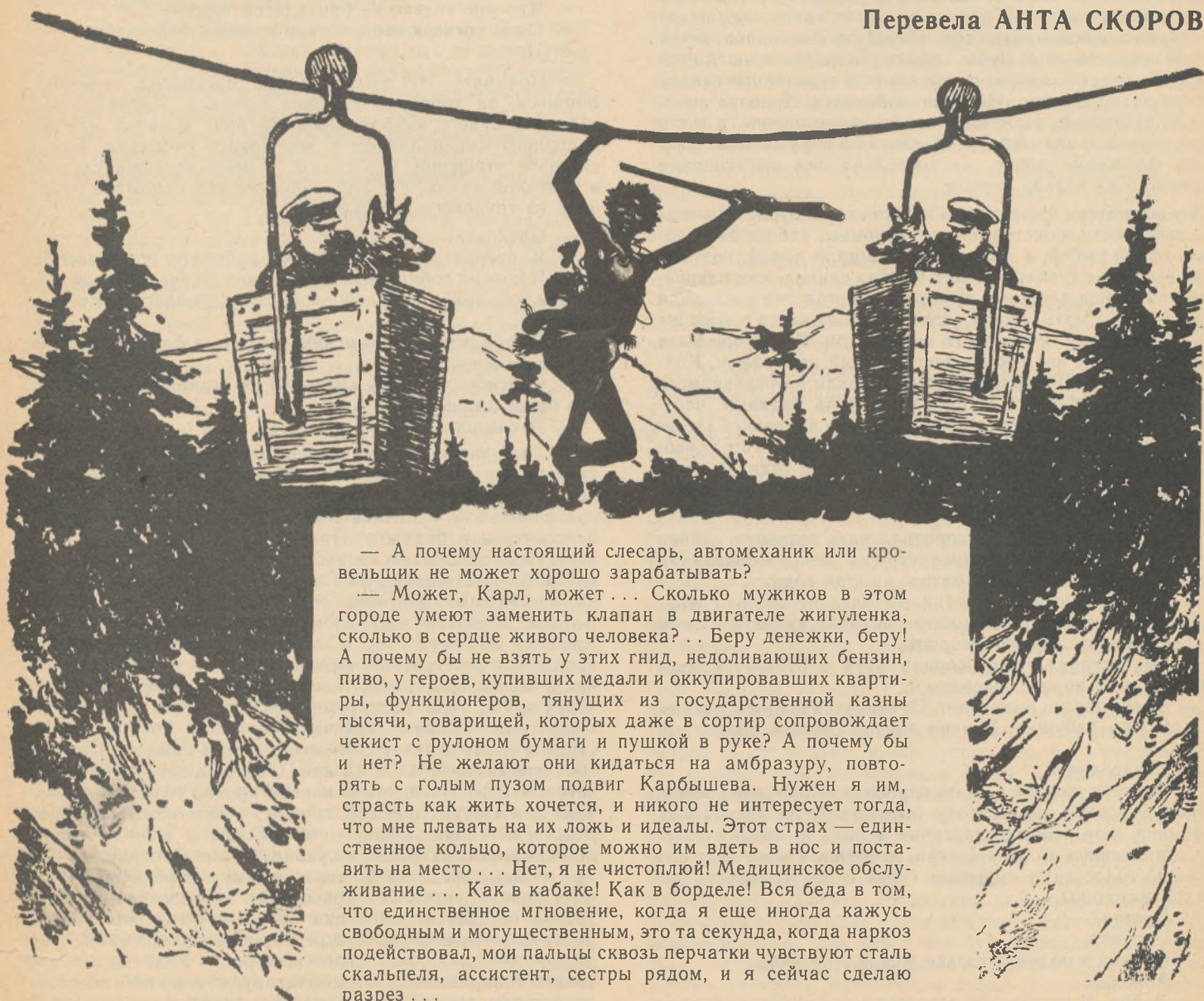
БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

АЙВАРС ТАРВИДС

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

Перевела АНТА СКОРОВА



— А почему настоящий слесарь, автомеханик или кровельщик не может хорошо зарабатывать?

— Может, Карл, может... Сколько мужиков в этом городе умеют заменить клапан в двигателе жигуленка, сколько в сердце живого человека?.. Беру денежки, беру! А почему бы не взять у этих гнид, недоливающих бензин, пиво, у героев, купивших медали и оккупировавших квартиры, функционеров, тянущих из государственной казны тысячи, товарищей, которых даже в сортир сопровождает чекист с рулоном бумаги и пушкой в руке? А почему бы и нет? Не желают они кидаться на амбразуру, повторять с голым пузом подвиг Карбышева. Нужен я им, страсть как жить хочется, и никого не интересует тогда, что мне плевать на их ложь и идеалы. Этот страх — единственное кольцо, которое можно им вдеть в нос и поставить на место... Нет, я не чистоплюй! Медицинское обслуживание... Как в кабаке! Как в борделе! Вся беда в том, что единственное мгновение, когда я еще иногда кажусь свободным и могущественным, это та секунда, когда наркоз подействовал, мои пальцы сквозь перчатки чувствуют сталь скальпеля, ассистент, сестры рядом, и я сейчас сделаю разрез...

(Продолжение. Нач. в № 8, 1989)

— Благодарствую, доктор, мне пора, уже поздно . . .
— Пора?
— Да. Вам тоже не мешает отдохнуть.
— Боюсь уснуть. Не нравятся доктору собственные лекарства, ох, как не нравятся . . . И кошмары снятся . . .
— Все будет хорошо! — Шмит встал из-за стола.
— На посошок! И не удивляйтесь, больше хирургов пьют только наркологи.
— Приезжайте, доктор, на охоту! — сказал лесничий, ставя рюмку.
— Договорились. И привяжите мне на веревочку мировой рекорд! . . .

Оставшись один, Арнольд разрезал бечевку и развернул газетную бумагу. Три волчьи шкуры и рыжая лиса. Арнольд еще выпил, включил телевизор, залез под одеяло, тупо посмотрел, как по московской мостовой ползут танки и маршируют солдаты в парадной форме. У уха задрезжал телефон, звонила Софья, сказала, все за столом, только его ждут . . . Пусть ждут, я устал, тебе рыжая лиса нравится . . . Нравится, подтвердила Софья, ты, кажется, принял . . . Да, согласился он, ты иди к гостям, стол наверняка шикарный, достойный круглого юбилея, а я пока постою . . . Не кури в постели, наказала Софья, и не закрывай входную дверь на цепочку . . .

А старый Ицигсон мял волчьи шкуры, дул в густой мех и хвалил красивый ворс. Глянь, как играет, глянь, восхищался старичок и вспоминал свою молодость кожевника, когда купцы носили волчьи шубы, соболя считались лучшей подкладкой, а через дамские плечи глядели стеклянные глазки рыжих лисиц и куниц. Ицигсон любовался. Арнольд смотрел на пушистые, пахнущие химикалиями шкуры, и в его ушах звучал хриплый баритон, слова об окруженном красными флажками волке, из последних сил пытающемся вырваться из кольца смерти . . .

А у его матери была только жалкая чернобурка. Нынешние звероводы, кажется, очень экономны, небось лис кормили одной рыбой, а мясо и яйца тасили домой, поэтому ворс выглядел тусклым, а мех быстро слинял, как плюшевый мишка под детскими ручонками. Когда они последний раз виделись, мать сидела, укутавшись в пальто с этим же самым облезлым чернобурым воротником. В конторе было холодно, и у ее ног горел электрический калорифер. Коллеги матери с любопытством поглядывали на незнакомого мужчину и, собираясь в обед перекусить булками, перешептывались у зеркала за дверью. В окна виднелись заснеженные крыши Старой Риги, в углу помещения еще красовалась елочка с небурными блестящими стекляшками, а в передней мужчины играли в новус и громко комментировали каждый удачный удар.

— Где ты пропадал? — спросила мать деловито, словно они расстались в новогоднее утро, а не разговаривали с последним раз три года назад, да, три года.

— Работы много, — ответил Арнольд не менее равнодушно и подождал, пока заинтригованные коллеги матери закроют двери с другой стороны.

— Ты постарел, — заговорила мать в пустоту комнаты. — И стал хорошо одеваться.

— А тебе пенсии не хватает. Приходится подрабатывать.

— Я уже бабушка. У меня внучка. Всегда хотела девочку.

— Поздравляю.

— Что тебе нужно? — мать спросила неожиданно резко. Арнольд хорошо помнил эту повелительную интонацию, вспомнил свои неосуществленные угрозы и, повнимательнее взглядевшись в лицо матери, заметил, что на этот раз громкий голос лишь скрывает страх и растерянность пожилой женщины.

— Пустяк.

— Пустяк?

— От тебя я получил только жизнь и пустяки.

— Арнольд!

— Ладно. Я не пришел ссориться, — сказал он совсем примирительно, словно заговаривая придирчивую комиссию из министерства. — Подпиши и бумаги в порядке.

— И ты думаешь, что я это сделаю? — воскликнула мать, тщательно изучив документ.

— Сделаешь.

— Никогда!

— Сделаешь и освободишь меня от обязанности обеспечить тебе спокойную старость.

— Нет.

— Ты долго будешь упрямяться?

— С ума сойти . . . За границу! А кто тебя воспитывал, кормил, учил . . .

— . . . Лечил, социализм и лечил тоже. Бесплатно. Дал мир, квартиру, как ее там, свободу . . . Я же всегда был плохим и неблагодарным. Шерсть менял, а не нрав. Да, да, на Запад, к буржуям, к волчьим нравам . . . Не зря отец на прощание собрался мне сказочку рассказать про Красную Шапочку и страшного волка.

— Отец?

— Он не отказал. За коньяк он мне и Нобелевскую премию бы выдал.

— Ловко!

— Да, ловко. Он говорил, что в Америке обязательно стал бы большим человеком . . . Интересно, в кого я пошел?

— Уходи!

— Зачем кричать? Пусть дяди спокойно гоняют свой новус.

— Что мне только не приходится терпеть . . .

— Один росчерк пера, и твои мученья окончатся . . .

— Нет!

— Понимаю. Не думай, я все прекрасно понимаю. Боишься, за хорошего сыночка боишься. Политическая клякса в анкете кадров. Сводный брат в лапах международного империализма и всемирного сионизма. Единственное утешение, что только у меня дедушка служил в немецкой армии, а у Улдиньша все как положено. Отец отца из трудового крестьянства . . .

— Прекрати!

— Я прекратил. Я прекратил работать, надеяться и пить. Я кончил собирать вещи в дорогу. И ты, наивная любящая женщина, не будешь той, кто меня здесь, в России, удержит.

— Я тебе ясным латышским языком сказала: ничего не подпишу, понял!

— Спасибо, что хоть милицией не стращаешь. Знаешь, что будет дальше?

— И слышать не хочу.

— Твой любимчик на комсомольской работе. Первая ступенька в карьере политика. Перестройку в массы молодежи, да здравствует Горбачев, долой Сталина! . . . Все как у людей. У мальчика семья, дочка, место на трибуне, перспектива в будущее. Правда, одна беда, папочка не перестроился, больше не работает на руководящей должности, потерял надежду на персональную пенсию и право на престижных докторов спецполиклиники. Это так . . . Каждое поколение должно идти дальше предыдущего, — Арнольд облизнул губы и, отбросив высмеивающий тон, продолжал бесстрастно, выговаривая каждое слово четко, как учитель иностранного языка: — А теперь послушай: через месяц твой инструктор получит вызов. Да, да, из Палестины. Парень, конечно, струхнет, но преодолет страх и возмущение, в соответствующем доме назовет вызов провокацией МОССАД или ЦРУ, докажет, что во время заграничного путешествия контактировал только со стукачом своей туристической группы, а его самые дальние родственники на Западе — тетя Ольга и дядя Микеллис, проживающие в Лиенае, на улице Ленина. Теперь демократия. Тебе не придется бегать в тюрьму с передачей. Мальчику поверят, провокаторов осудят, но подозрение, подозрение останется. Охотники за инструкторским местом подтвердят свое марксистское мировоззрение и укажут на диалектическую связь дыма и огня . . . Улдиньша после смерти тоже полностью реабилитируют. А до победы справедливости долгие годы придется вкалывать на рядовой работе. Придется ишачить инженеришкой по избранной специальности. И только . . .

- Ты что, подлец?
- Не начинай только плакать и оставь в покое валидол.
- Арнольд!
- Вот ручка.
- Нет.

— Это еще не все пакости, что у меня на уме. Зуб за зуб. Братоубийственная война самая жестокая. Знаешь, почему? В братоубийственной войне противники находятся на своей земле.

Мать молча взяла «рагкег» и нацарапала подпись, совершенную, как у всякой канцелярской крысы, вся жизнь которой прошла на службе, связанной с деньгами и материальными ценностями.

— Спасибо. Видишь, ты упрямылась и осталась без обода.

- Жаль, не увижу, как ты будешь с голода подыхать.
- Верно. Не увидишь.
- Ты еще пожалеешь, просить будешь.

Арнольд закрыл «дипломат». Щелкнули хромированные замки, а он долго-долго смотрел на мать. Неужели ничего не понял, неужели человеческая самоуверенность может быть столь безграничной, а умственные способности столь ничтожны?

— Послушай, у меня полжизни позади. Все было, много чего. Но просить, сожалеть — это нет . . .

. . . привычным движением взял зажигалку. Дым был крепким и пьянящим. Арнольд подумал, что он не так уж и преувеличивал и действительно проиграл братоубийственную войну, кто знает, может он среди последних остатков проигравших гражданскую войну и сейчас бежит с позиций, уже лет сорок назад ставших безнадежными позициями. Правда, офицеры барона Врангеля плыли в Константинополь на загруженных до последнего пароходах, земляки лесные братья увидели Готланд с качающихся рыбацких моторок, а он в том же генеральном направлении катит в теплом спальном вагоне. И оружие в руках он держал не на поле брани, а на грязном полигоне, где лейтенантов запаса медицинской службы готовили к ужасам ожидаемой атомной войны. А иначе . . . Не хочешь маршировать в ногу с ротой, сгинь . . . Оставь при себе ухмылочку об ораве трутней и голодранцев, провозглашающих братство и справедливость и отрезающих себе самый большой кусок от общего пирога. Тащат, тащат, пока в конце концов не сообразят, что знать слова партийного гимна еще мало, пирог стал совсем маленьким, он давно подгорел, да и выпечен из тухлого мяса. Никому, старик, не нужны твои усмешки над развратившимся от лени трудовым народом, который только и делает, что старается украсть хоть крохи от народного добра. Таковы правила, скажем спасибо предыдущим поколениям. Бегут десятилетия, растут кладбища, плоды побед зреют для внуков. К каждому государственному празднику можно собирать урожай, а потомкам разбитых противников остается лишь утешать себя вздорной мыслью, что вот они были бы умнее, хитрее и дальновиднее, несчастье, ирония судьбы, что появились на свет слишком поздно, приходится понимать, что ссоры и драки позади, а однажды вывешенный флаг капитуляции уже никогда не отмоешь добела. Этот белый цвет . . . Цвет невинности невест и китайского траура, старческих седин и детских пеленок, лимузинов люкс, первого снега, молока и накрахмаленных халатов. Великолепный американский халат плюс белые штаны плюс шапочка плюс туфли. Белый человек в белом кабинете над белым листком бумаги. В дни операций белый халат сменяет зеленая рабочая одежда. Кровь, красную кровь очень трудно отмыть. Белую полосу на государственном флаге тоже кровью замазали. Как никак самый устойчивый краситель, самая стабильная валюта. Красное золото, свободно конвертируемое и всегда в неограниченном количестве. Три листа помножить на пять миллиардов, если заполнить железнодорожные цистерны, как знать, эшелон наверно опоясал бы земной шар по экватору, где солнце всегда в зените, словно лампа на потолке операционной, мартышки шустрят на пальцах, о коралловые рифы бьются волны океана, и песок пляжа слезит

глаза. Побежать бы туда босиком и с развевающимся от дуновений пассата саронгом броситься в глубины лагуны, отливающей всеми цветами радуги, дожидаться вечера, чтобы увидеть, как краснеет горизонт, развалиться в гамаке и наблюдать, как на расстоянии в тысячи световых лет загорается Южный Крест . . . А может быть, Исландия? Скрывшаяся вдалеке ледяная страна? Тоже неплохо. Горячие гейзеры обогревают дома и оранжереи, а Гольфстрим — всю страну. Людей мало, врачей не хватает, зимой можно носить охотничье белье, а отпуск проводить где-нибудь в Малаге. Ха, испанские вина и испанки, много песет и много винограда, футбол, как по телевизору, и коррида, как в романах Хемингуэя . . .

Булькала фляжка. Трезвость — норма жизни? Плевать. Коммунизм — будущее человечества? Это ваши проблемы. Впредь буду хозяином себе и своей печенке. Прозит! . . . Арнольд оперся спиной о стенку и вслушался в шум колес. Судьба десантника — вот что его ждет. Высадиться на узкой полоске чужой земли, вцепиться в нее зубами, чтобы прорваться вперед. Другого не дано, разве что быть отброшенным назад, в море. Он не будет чистить публичные уборные в Нью-Йорке, не будет подбирать брошенные сутенерами-нигерами гроши. А язык довольно быстро забудется, пройдет какой-то год, акцент станет еще ужаснее, чем у дикторов «Голоса Америки». Кому нужен этот язычишко, на котором жалкий миллион вымирающих аборигенов пытается убедить друг друга, что они являются гордым и свободным народом, могучим и богатым своей культурой, теперь духовное наследие приходится на национальном подносе подносить невежественному человечеству. Латышское упорство — вот единственный капитал, остальное от самого зависит, нулевой цикл уже начался.

В купе горела только голубая ночная лампочка. Как кварцевая лампа, констатировал Арнольд, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме. Он присел на постель жены и прислушался.

- Ты спишь, Софья?
- Я таблетку выпила.
- Смотри, тебя еще, чего доброго, обкрадут.
- Было бы чего красть, — прошептала жена и поудобнее свернулась под одеялом.

А Арнольд слышал, как соседка шуршала конфетными бумажками. Он нащупал шнуры от ботинок, стал развязывать узлы. Обувь была тяжелой, с хорошими прокладками и рифленой подошвой, она больше подходила для прогулки в Альпах, чем для променада по парижским бульварам. Брюки тоже особой элегантностью не выделялись, старые, добрые джинсы «Levis», классическая модель дудочек, которые можно легко сложить и положить под голову, а утром без сомнений натягивать на ноги, не боясь выглядеть как вывалившийся в канаве бродяга. Раздевшись, Арнольд собрался проверить, на месте ли связка ключей, но опомнился, что у него нет ни дома, ни почтового ящика, ни машины, ни гаража, даже кровати нет. Залезая на лавку, он больно стукнулся головой о багажную полку и выругался про себя. Так что спокойной ночи, товарищ, пожелал себе Арнольд, залезая под казенное одеяльце. За окном виднелась только черная ночь, лампочка над головой светила навязчиво, как в тюрьме, и поезд без усталости несся вперед. А сон не шел. Вместо утомленности — беспокойство, которое не смыл коньяк в крови, не унесли с собой кольца дыма от тлеющего уголька сигареты. Как пионер, думал Арнольд, как пионер, который аккуратно упаковал рюкзак и никак не дожидается звонка будильника, чтобы отправляться на ежегодную экскурсию навстречу золотой осени. Учительница всех выстроит парами, дважды пересчитает, накажет соблюдать дисциплину и повезет осматривать памятные места какого-то там писателя или революционера. Под конец все будут обедать на опушке леса, развернув бутерброды с колбасой, будут грызть яблоки, запивать шипучкой, а поев — погоняют футбольный мяч на пожелтевшем лугу.

Во всех органах чувств беспокойство, точно такое же, как когда пересчитывал зеленые банкноты и засовывал их

в конверт. Запомнился именно конверт, продолговатый, идеально белый, с маленькой надпечаткой в углу — Hotel «Сгопа», Wien. И собственные слова, сказанные под шорох пятидесяток: «Даже деньги в этой стране противны, даже деньги . . .». В конце концов было важно, чтобы засаленные бумажки с вождем из водяных знаков попали в нужные алчные руки, дрожащие от жадности пальцы их еще раз пересчитывают, общая сумма соответствует прейскуранту и дает гарантию, что все кончится хорошо. Получатель тоже удовлетворен, пополнил семейный бюджет, полученные средства он превратит в золото, кто знает, может быть, закопает в лесу. А пока адвокат Берг сидит . . .

. . . адвокат Берг, развалившись, сидел в кресле с другой стороны карточного столика и глоточками пил безадачный кофе. Уже третью чашку. От алкоголя мэтр отказался, отказался, его безбожно мучает язва, все пальцы двенадцатиперстной кишки стерты до крови. Арнольд про себя посмеялся от всего сердца. Уж слишком жадно этот помятый жизнью пятидесятилетний мужчина в элегантном костюмчике лакал кофе и дымил одну за другой сигареты «Kent». Лысина на макушке тщательно зачесана, гладко выбритый подбородок побрызган хорошим одеколоном, пальцы наманикюрены, а худощавое лицо совсем серое, со многими жилками лопнувших капилляров на щеках. Уж не был ли на лечении в психсalone, подумал Арнольд, слушая болтовню Берга о знакомстве с высоким чиновником, которому он в случае необходимости может звонить прямо в служебный автомобиль. Свой личный транспорт юрист надеялся сменить в начале будущего года, еще он собирался купить импортную мебель, обсуждал целесообразность смертной казни при социализме, трепался о только что посаженной милицией в кутузку видеомэфии. Конфискованные кассеты теперь ночи напролет гоняют сами стражи и гаранты порядка. Берг тоже, с удовольствием смакуя каждую деталь, обсуждал отличие высокого искусства эротики от скабрёзной порнографии, после которой сопляки готовы затащить первую попавшуюся девчонку в подворотню или подвал.

— А костюмчик одень поношенный, с блестящими локтями, — сказал Берг, — туфли обязательно русские. Еще, чего доброго, увидев барахло, купленное по чекам, заседатели в обморок попадают.

— Может быть, пепел на голову посыпать?

— Посыпай. И верь в добро. Представителя самой гуманной профессии будет судить самый гуманный суд. А статья тебе грозит та же самая, что и директору мясной за торговлю мясом с черного хода, — последнее предупреждение Берг произнес с не меньшим наслаждением, чем только что рассуждал о темпераменте и грудях негритянок.

— Брось трепаться! Скажи лучше . . .

— Хватит, хватит, — адвокат взвесил в руке фирменный конверт венского отеля, — судью я хорошо знаю. Хитер, как Мефистофель. Тебе присудят штраф.

— Кретин, за что я плачу? Чтобы иметь право перечислить в государственную кассу четыре сотни, что ли? Это все было чистойшей провокацией . . .

— Верно, доктор, верно! Но наказание надо понести, завистников у тебя хватает.

— А у кого их нет?

— Между прочим, доктор, то анонимное письмо было опечатано на «Оптимае» вашей клиники.

— Не удивил.

— Четыре сотни — это потолок. Ты должен заплатить, чтобы твой доброжелатель не написал. В Центральный Комитет. Генеральному прокурору в Москву. И не болтал, что суд подкупили . . . Завистники, старина, дело очень серьезное.

— Уверен, что у латышей процентуально больше всех завистников и поэтов на тысячу жителей.

— Я вчера угря ел. Пять кило. Как веревка . . .

— Вевевка, вевевка! У меня веревка на шее! . . .

. . . Струя воды хлестала в раковину. Арнольд тщательно мыл руки и наблюдал в зеркале над краном неожиданную посетительницу. Обычное, невыразительное лицо и слова на

тонких губах, стертые слова о присущих ему врачебных талантах и ее подозрениях, врачах из поликлиники и диагнозах, самоочувствия занемогшего папочки и желаний дочери, чтобы больного посмотрел настоящий специалист, может быть, положил в больницу на обследование. Арнольд лишь катал в руках розовый кусочек мыла и соглашался со всем сказанным, потому что день уже кончился, только еще халат в шкаф, пальто на плечи, и ты вольный человек. Он уже вытирал руки, когда почувствовал, как что-то соскользнуло в карман. Удивление вздернуло наверх брови, а женщина, кланяясь, просталась и, стоя в дверях, обещала на будущей неделе позвонить и показать своего больного папочку. Только потом до Арнольда дошло, что именно ему показались подозрительным и опасным. Эта лихорадочная скорость, с которой просительница бросилась из комнаты, — настоящая мышь, зажженной лампой застигнутая на кухне врасплох с куском сыра. И потоки слов — совершенно безличностные, вызубренные, как стишок. Арнольд успел выхватить пухлый конверт из кармана и засунуть под номер «Ригас Балсс», принесенный санитаркой и валявшийся на письменном столе. Ощущение опасности нарастало и усиливалось, страх набросился в форме сержанта милиции, и он схватился за ручку, хотел распахнуть окно, чтобы конверт, этот подозрительный конверт развезть с высоты шестого этажа. Не успел. Без драматического стука открылась дверь ординаторской, и тут как тут двое спортивных парней с наглыми лицами и служебными удостоверениями в протянутых руках. Арнольд преодолел холодную дрожь, взял себя в руки и, как ему показалось, долго изучал документы, с грустью констатировал, что забирать его прислали двух дерьмовых лейтенантиков, которые скорее всего и оружие-то в руках держали разве что при сдаче ежегодных зачетов. Но санкция прокурора у мальчиков была, а также и организованные свидетели в полной боевой готовности, достаточно было свистнуть, как два представителя народа влетели в комнату и, открыв рты, стали ждать, как органы разоблачат чудовище, оденут наручники и отправят с конвоем в «воронку».

Но Арнольд все отрицал. В карманах сыщики нашли связку ключей, зажигалку, крошки табака и лотерейный билет ДОСААФ. У нас сегодня распространяли, заметил он, надо поддерживать патристическую организацию, они не дремлют . . . В кошельке парни насчитали двадцать пять рублей и семнадцать копеек. Ах, мало? Больше нет . . . Вам, вам за звание платят! . . . О деньгах и конверте он ничего не знает, совсем ничего! . . . Была женщина, хотела, чтобы лечили отца . . . Ну и что? . . . Сделайте в шкафу засаду, тогда сами увидите, такие просители здесь каждый день роятся . . . А в конверте тысяча? Ничего не знаю, я мыл руки и сейчас тоже умываю их . . . Очень просто, кран шумел, разве я должен каждому на пальцы глядеть, я людям верю . . . Конечно, конечно. Надо было видеть, в следующий раз тут кто-нибудь адскую машину подсунет, прибежит живой генерал меня арестовывать и будет талдычить, что я хотел Кремль взорвать . . . Ах, выбирать выражения? Когда, товарищи милиционеры, докажете мою вину, тогда и буду выбирать.

Конец был паршивый, потому что в «дипломате» оказались две бутылки коньяка и банки с икрой из правительственного буфета. Деликатесы вызвали дискуссию о разнообразии материализованной благодарности и криминальной взятки. Ну, халат в шкаф, пальто на плечи — и в управление внутренних дел.

«Дипломат» нести Арнольд категорически отказался. Ваш вещдок, вы и ташите! . . . По коридорам клиники он шел с высоко поднятой головой и высоко поднятыми руками. На недоуменные и испуганные взгляды встречающих коллег он громко отвечал, что является взяточником и живет на нетрудовые доходы. Лейтенантик, идущий по пятам, непрерывно шипел в ухо, требуя, чтобы задержанный опустил руки, он всячески угрожал и ругался нехорошими русскими словами. Бить, пытать будете, вместо ответа спрашивал через плечо Арнольд и от души радовался,

что народ скоро сможет отпраздновать круглый юбилей тридцать седьмого года.

Как потом выяснилось, странная процессия всколыхнула целое море слухов. Свидетели — ходячие больные, родственники-супоносцы, санитарки, честные люди, убежденные партийцы и больные раком — все в один голос болтали, что поймали закоренелого вымогателя, требующего за операцию по пять тысяч и у которого на имя родственников записаны две двухэтажные дачи — в Майори и в Сочи, другие же знали, что арестованный маньяк за плату во время операций вводил больным в организм живые раковые клетки, другие еще утверждали, что московские следователи разоблачили самого настоящего «крестного», подлеца и преступника, торговавшего промедолом и загребавшего тысячепроцентную прибыль. Все было, только до этого пришлось испытать много часов допроса и конфронтацию с серой мышью, которая теперь следователю свидетельствовала, как нагло доктор требовал тысячу, она, любя своего отца-фронтвика, была готова пожертвовать всем, но правда все же должна быть, потому и сообщила компетентным органам и очень сожалеет о своем необдуманном поступке. А допрос вел майор в тесноватой форме, сидя под козырной бородкой Железного Феликса. Арнольд говорил спокойно, он уже полностью овладел холодной сдержанностью, необходимой в критические моменты, вдобавок подкрепляла мысль, что монстр готов захватить его в свои шестеренки, перемолоть и выплюнуть, а он, ничтожный человечек, должен попытаться надуть этих, в пуговицах, кому даны права решать, оружие, ключи от камер и задание охранять ночной покой граждан. А пока следователь пронзал его глазками, и где-то в глубине своей милицейской логики прятал в вопросах настоящей западни с отточенными острями доказательств.

Арнольд решил чистосердечно признаться. Он хотел, чтобы суд смягчил вину и учел личность подсудимого, потому принялся долго и подробно рассказывать и о вымогательстве денег, и о спекуляции импортными медикаментами, правда, отрицал любые незаконные манипуляции с наркотическими препаратами, зато среди дававших деньги фигурировали ветераны Великой Отечественной войны и труда, весьма положительные и уважаемые люди. Перо майора Вилцанса бежало по бланку протокола, следователь только иногда поднимал голову и, прервав писанину, уточнял даты, имена и суммы. Арнольд потихоньку считал вслед и ужаснулся: как-никак, он мог бы стать владельцем особняка и яхты. Майор Вилцанс дал руке отдохнуть, а Арнольд, дымя сигаретой, кротко сказал, что на суде он от своих показаний откажется и заявит, что следователь применял незаконные методы — угрожал и распускал руки. Тут уж Вилцанс выпрямился во весь рост под портретом своего учителя и пожелал узнать, что это засранец себе позволяет. . . Майор, судя по вашим методам, вы последователь, — тут он назвал имя подполковника рижской милиции, взяточника, садиста и атамана домушников, о судебном процессе которого писал московский «Крокодил». Следователь густо покраснел, все же сдержался, хотя и расслышал замечание Арнольда о том, что оба лейтенанта его дважды ударили в кабине лифта, профессионально, по почкам, чтобы следов не оставалось. . . Пока майор глотал воздух, как рыба на суше, Арнольд сообразил, что ему в беде улыбается удача. Знаете, Вилцан, мне завтра в девять ноль ноль надо быть в операционной, на столе будет герой соцтруда, коммунист, депутат. . . Вы проверяйте, проверяйте, выясняйте и сажайте меня. . . Посплю у параша, отдохну. . . А вместо меня кто-нибудь из ваших оперов операцию сделает. . . В финале Арнольд отказался подписывать какие-либо объяснения, а в переделанном протоколе потребовал изменить две формулировки и уже совсем нагло попросил, чтобы блюстители порядка вылили в раковину конфискованный коньяк. Ну и порядки, вещественные доказательства уничтожить нельзя, а выпить — это да. . .

. . . Последовал товарищеский суд в Красном уголке, на котором коллеги в большом единодушии вынесли Ар-

нольду общественное порицание. Пока профсоюзная начальница с листочка читала про святое предназначение врача, сидящие на задних рядах не менее громко дебатировали, кто же написал анонимку. Арнольд сказал, что понимает обоснованное возмущение коллектива и впредь посоветовал всем докторам любого просителя с пучком цветов незамедлительно гнать в шею, иначе, кто знает, сотрудники внутренних дел арестуют, а имущество конфискуют вплоть до кальсон. За столом президиума сидело трое, они, кажется, понимали, что рабочий день окончен, коллеги хотят домой. Поэтому решение «тройка» вынесла быстро, как в сталинские времена, — меньше полчасика, руки голосующих вздернуты к потолку, виновный наказан и престиж коллектива спасен.

В соответствии с законодательством, до рассмотрения дела в суде Арнольд должен был работать на последнем месте работы. Он был циником, не верил в хрестоматийные строки поэта Маяковского о милиции и по вечерам избегал ходить по городу. А дни тянулись уныло и однообразно, как в богадельне. Оперировать Арнольду не давали, после утренних обходов он коротал рабочее время, болтаясь по клинике, кофейничая и участвуя в разговорах о возрождении латышского духа, отъездах евреев и стиле одежды супруги Генсека. . . Единственным напоминанием от органов было посещение очаровательного, похожего на дипломата джентльмена. На сей раз обошлось без экальтированных возгласов и размахивания удостоверением. Арнольду было предложено в обмен на прекращение дела дать небольшую, чрезвычайно конфиденциальную информацию. Роль доносчика показалась столь завлекательной, что Арнольд с ходу согласился, стал рассказывать про кумира своего детства Кима Фильби и про самое горячее желание — быть выброшенным на парашюте где-нибудь над Техасом или штатом Юта. После этих слов гость исчез, как истинный джентльмен, — не прощаясь, обойдясь без оперативной фразы, что обвиняемый обо всем еще пожалеет. А ближе к вечеру Арнольд на стоянке подождал, пока профессор Людвиг отойдет «волгу»:

— Профессор, я похож на субъекта, страдающего манией преследования?

— Коллега, первое апреля на следующей неделе. . .

— Меня вербовали. Вы прекрасно понимаете, что не «Intelligent Service» интересовалось одним простым советским профессором. . .

— Тут Арнольд постучал по лакированной крышке лимузина.

— Догадываюсь. . . Слава богу, министерство может уже готовить почетную грамоту, профсоюз собирать на цветы. Шестьдесят лет, пора на пенсию.

— Жаль. . . До свидания!

— Подождите! . . Арнольд, вам, вам, к сожалению, я помочь не могу. Хирурги рождаются редко. На самом деле, жалеть надо вас. . . что за выгребная яма!

— Спасибо, профессор!

Заработал двигатель, и «волга» важно умчалась по широкой улице. Арнольд остался один. Сев в «жигули» он тупо смотрел на посетителей, как они тащат тяжелые торбы с едой, как у ворот с цветочных лотков торгуют тюльпанами и нарциссами.

. . . Вскоре в парках отцвели крокусы, распустилась сирень, больные держали в тумбочках банки с принесенной родственниками южной клубникой, а в судебном зале было невыносимо душно. Дело Арнольда было назначено на конец дня. Сидя в коридоре, он наблюдал, как мимо проходят только что разведенные пары с плачущими детьми и командами враждебно настроенных больельщиков, швейцары ресторанов, открывавшие двери кабака и кланявшиеся разве что за пятерку.

В шесть часов вечера началось слушание дела. Резкий голос секретаря суда, коллективное вставание, адвокат, прокурор, дюжина любопытных и обвиняемый в стойке «смирно», под гипсовым гербом республики, судья с двумя заседателями, и правдоделание началось.

Судья казался строгим и неумолимым. Длинный, костля-

вый мужчина, у которого в голове уже мысли о заслуженном отдыхе, одет в невзрачный отечественный костюмчик, как у обвиняемого. Мужчина держался серьезно, деньги, мол, надо честно отработать. Зато заседатель-женщина могла бы с таким же успехом торчать в любой конторе вместе с полдюжиной таких же склочных созданий. В честь общественной нагрузки она оделась и причесалась как на торжественное заседание Восьмого марта. Заседатель мужчина, скорее всего, символизировал класс-гегемон, и, соблюдая неписанные законы, его бычью шею душил галстук, а шариковая ручка, которой представитель народа проставлял в блокноте галочки, чуть ли не терялась в натруженных ладонях. Еще адвокат. Уложенная феном прическа, много иностранных слов в речах... И прокурор. Маленький, серый, пригодный на роль бухгалтера смерти... И протоколистка.

Все по закону. Имя, фамилия, отчество. Год рождения, партийная принадлежность, национальность. Жизнеописание. Статьи Уголовного кодекса и пункты обвинения. Свидетели и доказательства. Справки и выписки. Вопросы прокурора, реплики адвоката, тон верховного жреца у судьи. Арнольда охватывало безразличие, измеряемое двумя таблетками успокоительного, равнодушие, прятанное ненависть и презрение за холодную вежливость и лаконичные ответы, превращающее заданные ему вопросы в безобидные слова, в переносимые звуки, уже целый час бившиеся об его перепонки.

А речи судейских были грязны и циничны, какой уж тут Цицерон, какой Кони... Логика прокурора рушилась при конструировании сложноподчиненного предложения о социальной опасности совершенного обвиняемым проступка. Защитник не отставал, в своих рассуждениях о миссии врача он был столь же красноречив, как узбек, спекулирующий на рижском рынке марокканскими мандаринами.

Признаете, что вы потребовали у гражданина Форанда бутылку коньяка?.. Нет. А гражданин Форанд свидетельствует: на вопрос, уважаете ли вы коньяк, вы десятого марта ответили, что «Bisquit» просто чудо!.. Да, чудо. Солнце тоже чудесно, но разве поэтому мне следует положить его к вашим ногам? Оставим солнце в покое. Коньяк и икру вы все же одиннадцатого марта взяли?.. Да. И вы не расценили эти деликатесы как взятку?.. Гражданин прокурор, если бы я не отказался взять бутылку коньяка после поставленной ему клизмы, то, возможно, и склонился бы к подобной постановке вопроса. Но в данном случае я прооперировал злокачественную опухоль у брата гражданина Форанда, так что бутылка французского коньяка и баночка черной икры в обмен на жизнь брата, простите за откровенность, это фашистская мерка ценностей. В сравнении с человеческой жизнью даже ящик «Naroleon» а только символическая благодарность. Вы признаете, что потребовали у гражданки Калмыковой тысячу рублей за клиническое обследование ее отца и помещение его в стационар?.. Нет. Вы же сами слышали, как свидетельница точно назвала сумму, изложила весь разговор и сказала, что передала вам конверт с деньгами!.. Уважаемый суд, гражданка свидетельница может утверждать, что я потребовал миллион, а между прочим, при моем личном обыске упомянутая сумма не была найдена. Позволю себе заметить, что свидетельство следует рассматривать как сфабрикованное, это подтверждается также оказанным на меня в ходе следствия давлением со стороны майора... майора Вилцанса. Теория Вышинского на практике! Могу напомнить, кремлевские профессора подтвердили, что собирались отравить генералиссимуса Сталина, а маршал Тухачевский признал себя агентом генерального штаба... Вас можно привлечь к ответственности за оскорбление суда!.. Прошу извинить. Обвинение считает, что вы позорите звание советского...

Тут адвокат выразил протест. И ему тоже дали поговорить. Обвиняемый получил высшее образование, совмещающая учебу с работой, по распределению три года проработал в сельском районе, по месту работы охарактери-

зован положительно, занимался научной работой, участвовал в общественной жизни коллектива, встречался с врачами — борцами за мир, так как хорошо владеет несколькими иностранными языками... Арнольд тем временем сидел на жесткой скамейке и наблюдал, как в комнате жужжат и летают мухи. Он силой заставлял себя думать о чем-нибудь солнечном. О мартовском дне, когда под ногами лыжи и снег Чегета, а вокруг величественные и вечные горы... О луче лазера, скользящем по компакт-дису, а где-то в «Альбертхолле» звучат первые аккорды... Да, да, о глотке «Bisquit» и ломтике собственноручно зажаренного бифштекса с кровью... О красивых женщинах, ради которых стоит жить, об оправдательном приговоре, об успехе, победе, триумфе... Не помогало. Не помогала даже железная уверенность, что суд, народный суд подкуплен. Арнольд чувствовал себя точно так же, как в восьмидесятые годы, когда стоял в одних трусах, а напротив за столом сидели военный комиссар, еще несколько милитаристов, комсомольский деятель, ветераны с орденскими планками и докторишки. Докторишки так и рвутся подработать в призывных комиссиях, как-никак, министерство обороны — контора богатая и, хорошо заплатив, она медикам дает возможность отправить всех сопляков на пушечное мясо, охранять знамена и «зекон», спасать мир и подпирать коммунизм по всему свету. Так вот и стоял он перед комиссией и беспрекословно исполнял приказ: «Опусти трусы!» Арнольд заметил, что ярость и бессилие сводят мускулы на лице. Дерьмо такое! Как хотелось бы увидеть очкастого прокурора в больничной пижаме, перепуганного и подозрительного. Человеколюбие, доброты?.. Смешно. Даже не дотронулся бы, пусть хоть золотом осыпет. По душному помещению по-прежнему кружила муха, а Арнольду было стыдно за купленные в магазине уцененных вещей сандалии, бумажные носки и достойный воспитанника детдома костюмчик, вернее, сама одежда не имела значения, важно то, как он вчера запыхавшись ее покупал, стараясь спасти свою шкуру маскировочным костюмом фирмы «Латвия».

А заседатель допытывался, сам ли он подбирает пациентов на лечение... Я не в частной клинике работаю. Заседательницу интересовала эффективность лечения, вопрос, скорее, для популярного медицинского ежемесячника... Продолжают умирать. После неудачной или запоздалой операции умирают быстро, а наиболее живучие уходят в муках, даже наркотики не помогают. Судью интересовала оплата труда... Заботятся, заботятся, зарплату хирургам повысили, на целых двадцать рублей.

Прокурор и адвокат произнесли речи, одинаковые и благозвучные, как статейки на темы морали в провинциальной газете. Наконец, последнее слово обвиняемого. Пожалуй, надо бы пообещать исправиться и начать новую жизнь, но Арнольд все полностью отрицал, поэтому, оглядев по очереди всю бригаду юристов, он заявил, что невиновен, а соблюдает ли обвиняемый профессиональную этику и существующее законодательство, то есть не вымогает ли вознаграждение, каждый из присутствующих может проверить сам, тогда и выяснится, потребует ли он денег, только следует учесть, что катар верхних дыхательных путей лечат в районной поликлинике, специальность же подсудимого — хирург-онколог... Посоветовавшись минут десять, суд именем Латвийской Советской Социалистической Республики объявил приговор — четыреста рублей штрафа. Тут Арнольд пробурчал под нос, что за эту сумму ему вкалывать три долгих месяца. Адвокат смотрел на него умоляющими глазами, видать, читался книжонок о политических процессах царского времени, когда осужденные после оглашения приговора проклинали самодержавие, прославляли социализм или пытались петь «Варшавянку». Тем не менее расстались они по-дружески, адвокат услужливо благодарил, ладонь у юриста совсем взмокла. Он всерьез считал, что гонорар заработал честно и, лишь благодаря его таланту, удалось добиться столь мягкого приговора... Вечером примчался Берг. Окончательный исход суда, естественно, был ему известен. Берг дул кофе, показывал только что вышедший том сочинений

Уильяма Фолкнера и поучал, что какое-то время Арнольд должен быть чист. Они не утихомятятся, будут подглядывать, шпионить! Вцепятся в холку, как собаки. Во второй раз так легко не отделаться! Рецидива не будет, сказал Арнольд. Я уезжаю, завтра же начинаю оформлять бумаги. Куда? . . . За границу. На сколько лет договор? . . . На всю оставшуюся жизнь! Тебе придется пересдать экзаменов этак шестьдесят. В задницу! Берг предложил свои услуги в оформлении документов. Это, приятель, не твой профиль, ответил Арнольд, здесь другая статья, пахнет изменой Родине, по крайней мере — шпионажем. Ты мало что сможешь увезти, заявил мэтр, вглядываясь в великолепие комнаты. Верно, отчую землю не унесешь с собой на подметках башмаков. Разве что, пустая сентиментальность — горсть песка, да смену белья и бутылку экспортной водки. Ты, поглотитель таблеток, даже не представляешь, как приятно темной ночью лежать в постели, закрыть глаза и . . .

. . . закрыть глаза и дернуть прямо из горлышка. Один маленький глоток, а расслабление нарастает, кажется, что рельсовая магистраль дотянется до берега океана, где тебя ждет стоящий на рейде корабль с мерцающими огоньками, ждет только тебя, чтобы поднять якоря и отправиться в дальнейший путь. Ритм сердцебиений перекликался с равномерным грохотом колес, бежали метры и секунды, понемногу набирались километры и минуты, воздух все еще был влажным и душным, а одеяло около носа неизвестно почему пахло французской парфюмерией. Это наверное единственное в мире государство, где в общественном транспорте одновременно пахнет «Shapell»'ью номер пять и старческой мочей, но, в общем, это не имеет никакого значения, потому что сегодня жизнь разламывается на две части, кто знает — равные или несоизмеримые, во всяком случае, одним ударом, да так, что, как разрубленный позвончик, не связать, не соединить. Ящерица сбрасывает хвост, он же оставляет часть жизни, которую уходящее время превращает в неживые, трафаретные биографические данные, которые так легко разместить в графах анкет и справок, чтобы легче было оценить и осудить. Арнольд засунул фляжку под подушку и вытянул в темноту ноги. Как хотелось, чтобы нашелся умник, подсовывающий под нос микрофон и задающий самый банальный вопрос о начинаемой заново жизни и выборе пути. Какой великодушный вопрос, так и хочется нахмурить лоб и глупокомысленно изречь, что, если бы господь бог дал возможность второй попытки, то, скорее всего, ничего бы не предпринимал. Хотя, на перроне поезда придется сказать, что он бесконечно счастлив очутиться наконец в *свободном мире*. Между прочим, это вовсе не будет ложью, просто обычное стремление приспособиться к правилам игры, даже колеса вагонов при пересечении границы меняют на западноевропейский стандарт, куда уж человеку. Всегда приходится обо всем сожалеть, сколь рьяно бы и не утверждалось противоположное. Отрицание следует отрицанию, и диалектическая спираль вьется сквозь годы, как штопор, каждый день словно маленький прыжок в неизвестность, когда хочется над течением времени попасть с берега прошлого прямо в будущее.

Из коридора доносились шаги и человеческие голоса. Кто-то успокаивал капризного ребенка. Бунтовщик визжал и требовал, чтобы ему купили собачку, маленькую, миленькую собачку. Зашипели тормоза, поезд прекратил бег, вагон остановился, и сила инерции старалась вывалить спящих с полка. Арнольд прильнул к окну. Какая-то станция в Литве. Вывеска с названием осталась вне поля зрения. Одинокие люди в ночи. Несколько сонных пассажиров вылезли из вагона. Мужчина тащил картонный ящик, наверное телевизор, подумал Арнольд, человек увидит мир, может быть, даже в цвете. Дождь перестал. Свет от фонарей расплывался в лужах. Еще несколько минут, и вагон незаметно тронулся. Арнольд растянулся на спине и прислушался. Нет, в коридоре тишина. Соседка потихоньку посапывала. Да, спать не хочется, подумал он. Равнодушно, без злобы и волнения. Мало ли людей

по ночам бодрствует. Пекари за выпечкой хлеба, травматологи у раздробленных цивилизацией тел, матери у кроваток больных детей и больные проститутки на улицах больших городов, страждущие от голода или похмелья, рабы кофеина, мечтатели и охрана у пультов, одни — в бомбардировщиках в стратосфере, другие — в бетонированных шахтах подземелья, а еще другие — в брюхе субмарин рядом с эмбрионами уничтожения, всем им надо только получить закодированный приказ, чтобы рука отперла замок, а все остальное довершит бесстрастная электроника, и ракеты стартуют в ночь, неудержимо понесутся к заранее намеченным целям, неся уснувшим городам свои подарки весом в мегатонны. Как иллюстрация к брошюркам гражданской обороны прорастут громадные атомные грибы, на расплавленных камнях испарятся миллионы, завершится путь от искры, высеченной робким разумом из кусочков кремня, до противозачаточных таблеток нагошак, общий для всех траурный марш сыграет счетчик *Гейгера*, а луна будет так холодно светить сквозь щели облаков, свет отразится на влажных сучьях, и на светящемся диске можно . . .

. . . на светящемся диске можно было различить даже синие пятна морей. В комнату падал тусклый свет, и казалась, предметы обросли призрачно длинной, дрожащей бахромой. Во дворе ветер опять раскачивал ветви клена, они время от времени скребли об раму, порывы не утихали, и лунный круг закрыли лохмотья бегущих облаков. Теперь по комнате разлилась липкая осенняя темнота, а уголек сигареты разгораясь свидетельствовал о каждой поглощенной легкими затяжке табачного дыма. Тихо играл магнитофон, «*битлы*» пропели свой «*Белый альбом*», а женщина рядом вдруг неожиданно зашевелилась.

— Ты не спишь? — он спросил, раздавливая сигарету в поставленной на пол пельешнице.

— Только что проснулась . . . Смотри, какая луна!

— О, сантименты! . . . Боишься стать лунатиком?

— Не боюсь.

Арнольд чувствовал ее дыхание и прядь волос, щеко-тавшую подбородок.

— Где ты была раньше?

— В тридцати минутах езды троллейбусом.

— Хорошо, что нам нет пятидесяти, — прошептал он.

— Хорошо.

— Какая случайность . . . Точно так же я сегодня мог бы говорить о том, как трудно было воевать, какова была цена куска хлеба. Поговорив и позвеневав медалями, я бы тебе и другим детям повязал галстуки, а нарядные ученики преподнесли бы мне букет гвоздик . . .

— Я не люблю гвоздики.

— Заслуженным дядям положено дарить гвоздики, на похоронах же уместнее каллы.

— Обещай, что завтра сбреешь бороду. У меня все лицо щетиной исцарапано.

— Клянусь! Раньше женщины звали на подвиг, а теперь . . .

— Заставляют мыть ноги.

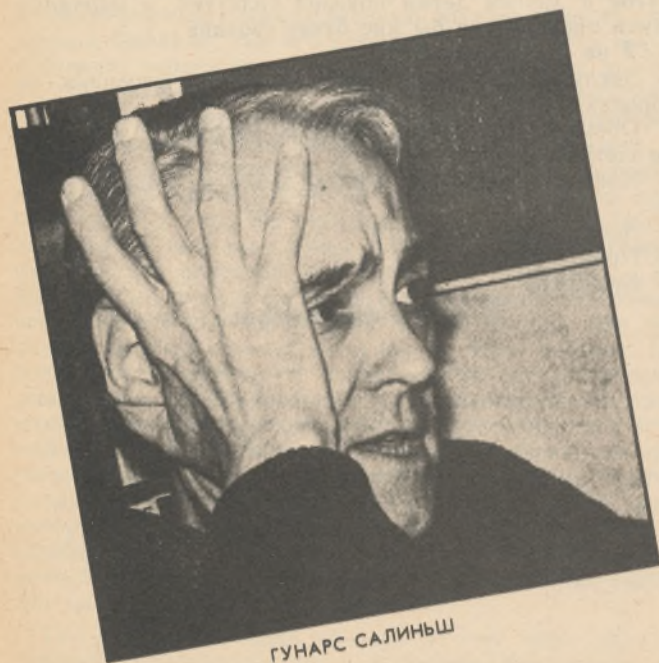
— Причем обе.

— Бедняжка.

(Продолжение следует)

ГУНАРС САЛИНЬШ

(США)



ГУНАРС САЛИНЬШ

В СТАРОЙ РИГЕ

И шла она в утренних сумерках по еще пустынным
улочкам,
сжимая ладонями свою полную грудь так, что
молоко звеня текло по булыжнику;
и потом она шла еще дальше, и на цепи меж голых грудей
качалось
тяжелое древнее украшение — будто из раскопанных
захоронений; и какой-то мужчина с зеленым лицом
глядел на нее через окно, сквозь стену
храма — Бог? С зеленым лицом
Бог?

Но я видел ее, эту женщину,
с опущенной головой и с опущенными просветленными
веками
уходящую —

грудями звеня, словно колоколами.
И отворились двери, и появились другие — у одного
кто-то прогрыз живот,
но будто из камня
тот не кровоточил
и кишки
не выпирали наружу. Словно подпорченная, но
великолепная статуя он бежал дальше по улице, пока
остальные клоунообразные существа кривляясь плясали
перед старыми воротами,

свои топором
рассеченные башки
разевая
и закрывая
как лягушачьи рты

(Встреча, 1979)

ВРЕМЯ В ТИБИНГЕНЕ

Нынешним летом время один из гостей этой маленькой
гостиницы,
с утра он завтракает булочками, кофе, мармеладом из
черной смородины,
потом идет гулять по берегу Некары. С моста наблюдает
за рыбой в прозрачных глубинах, которая каждое утро там
собирается —
каждое утро одна и та же, он запомнил ее и знает по
именам.
А потом он идет по вымощенной кирпичом тропе вниз
вдоль реки,
иногда наклоняясь над душистым горошком,
который пахнет на опьяненных террасах во дворах старых
домиков,
и доходит до башни Гелдерлина —
и там,
у поэтического юноши в мраморе черном,
любимая моя сегодня утром его сфотографировала,
этого гостя в голубом летнем костюме, легко
замечтавшегося,
рядом с чем-то более вечным
нежели он сам

(Встреча, 1979)

В ЛИСТОПАД

Ты смотришь на меня красными глазами, земля.
Запах Твоих потных подмышек бьет мне в ноздри.
И потом Ты встаешь: с бедер Твоих опадают
заспанные листья —
И Ты стоишь на моем пути, не обойти Тебя,
земля

(Встреча, 1979)

У ФОВИСТОВ В ПАРИЖЕ

Женщины —
еще мокрые —
из глины,
красными и зелеными отпечатками Божиих пальцев
еще покрытые, —
а может быть, языка?
Быть может, Он их только что
из глины
вылизал языком?

(Встреча, 1979)

ТАНЦЫ ЛЮБЯЩИХСЯ

Любимая, нынче вечером
в бедрах начинаются все Твои движения
и продолжают в моих

Веди меня, любимый, — телом своим я готова
уйти в любой звук, цвет, любое еще неизведенное
движенье — только бы Ты был во мне!

Губы с губами, язык с языком — с сосками, лоно
с лоном танцует. Внезапно
мы один единый плод —
который зреет — созревает — и падает.

(Встреча, 1979)

Нежность твоя — теперь она растрачивается
в ритуалах с женщинами,
которые еще до полуночи
все равно бы тебе
отдались.

Но она, которую любил ты однажды,
она исчезает
все дальше и дальше в ночи.

Обернись:

во тьме ее бедра
пылают

(Встреча, 1979)

В ДОЖДЬ ПО СТОКГОЛЬМУ

Я иду в дождь
я иду и иду в этот дождь и вдруг понимаю,
что он непролазный. Непроходимы
рощи дождя, леса дождя, дремучие леса
дождя. Я давно заблудился,
давно прошел сквозь всю свою жизнь, сквозь
свое рождение. И материнскую утробу.
Еще дальше, назад. Дальше. Где я?
Дождь. Дождь. Непролазный.

(Встреча, 1979)

ПИР У ЖИВОПИСЦА Карлису Кронбергсу

Когда из сосуда вино проливалось на землю, кто-то
промолвил:
«Что-то стало здесь темновато . . .»
И тогда хозяин взял и обмокнул кисть в горшок
и намалевал во тьме небес над нашими головами
золотые пятна —
и под ними мы пировали в ту ночь
будто под звездами

(Встреча, 1979)

ИСКУССТВО У китайских витрин

Останавливаемся у китайцев —
на фарфоре они танцуют и поют —
так поют, что никак не услышать

и двуглавая черепаха
целуется влюбленная
сама с собой

а я с Тобой
целую вечность с Тобой перед этой витриной

(Встреча, 1979)

Перевела ЛИАНА ЛАНГА

ДЭВИД ДЖОУНЗ

ПОЭЗИЯ В ТЕАТРЕ

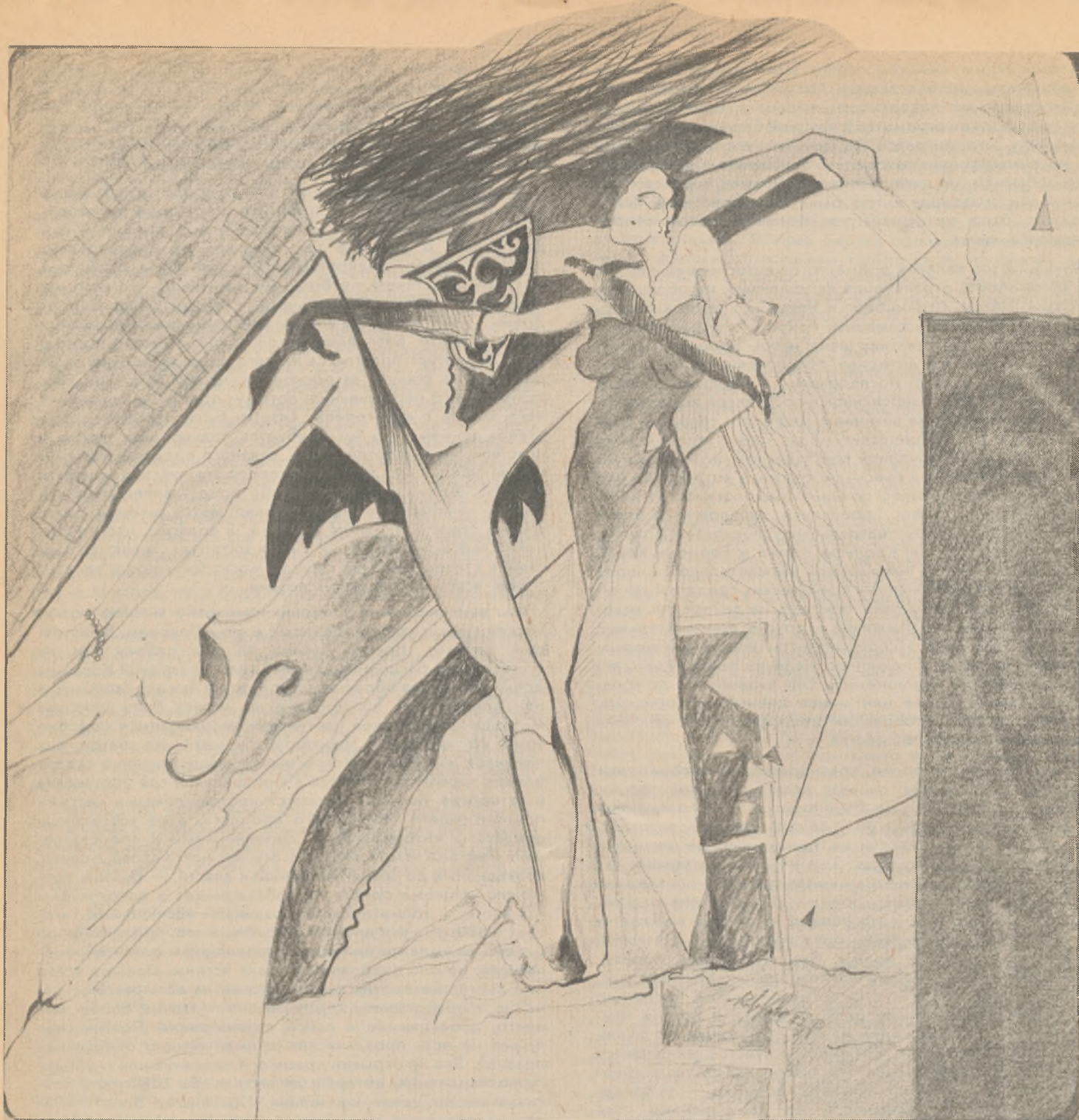
Как один из родов литературы, драма имеет свои недостатки, которые поначалу кажутся слишком сдерживающими ее, хотя впоследствии они выступают как источник силы. Сам автор высказывается разве что через такие приложения, как пролог, эпилог или комментарий хора. В самой пьесе персонажи могут сказать по большей части только то, что характеризует их. Каким же образом автор может передать свое интуитивное понимание сути, свои моральные или философские воззрения, из которых и складывается искусство?

Конечно, непосредственное изображение человеческих поступков само по себе способно вызвать более острые эмоции, чем любой другой вид искусства; эмоции, разумеется, не такие мощные, как эмоции, вызываемые музыкой, но более острые в силу своей сосредоточенности на людях, подобных нам и вовлеченных в характерные для нас ситуации. Как бы то ни было, та выразительность, которая дает драме универсальную и неизменную силу воздействия, не может заключаться только в действии. Изображаемая свадьба, например, может вызвать сильные эмоции у зрителей, но эмоции у каждого зрителя будут разными, поскольку будут являться результатом ассоциаций, а ассоциации у каждого будут свои. Управление реакцией зала, которое делает возможным создание выразительного, эстетического рисунка (структуры), должно достигаться благодаря дополнительным источникам. В пантомиме эти источники кроются непосредственно в представлении, но с трудом возможен контакт между исполнителями. В балете они таятся в хореографии, в декорациях, а также в музыке, и это более постоянные элементы, способствующие неизменности представления. В драме такими источниками являются авторские ремарки, режиссерская постановка и текст. Из них текст является единственным элементом, способным оставаться без изменений, хотя и он может интерпретироваться различным образом от постановки к постановке, особенно в различных регионах и в разные времена. Сами декорации и костюмы, конечно, могут быть воссозданы, но нет уверенности в том, что они будут все время ассоциироваться с текстом, а экранизация произведения целиком предполагает перевод на язык принципиально иного вида искусства.

Итак, единственный элемент в драме, над которым более или менее властен автор, — это текст. И здесь он сталкивается с проблемой, как передать свое ощущение значимости происходящего, вкладывая его в уста дейст-

вующих лиц, которые по правилам игры должны по большей части не сознавать эту значимость. В течение долгого периода в истории драмы драматурги нашли выход, как использовать условности драмы. Хор является самым очевидным конвенциональным средством самовыражения автора, но и в самом действии есть незаметные возможности для авторского комментария. Персонаж может временно быть обезличен, чтобы высказать какую-то точку зрения или сообщить что-либо такое, что направит реакцию аудитории в нужном направлении. В театре, подчиняющемся условностям, зритель благодаря персонажу при необходимости откорректирует ход совершенно бессознательно. Условности, таким образом, проявляются как посредники, позволяющие автору дополнить действие информацией и проникновенностью, которым его освещают. Они (условности) молчаливые договоренности между автором и залом о том, что действующие лица будут вести себя или говорить иным, чем в жизни, образом, что расширит, однако, сферу охвата драмы. Мы обычно не высказываем вслух наши сокровенные мысли, оставшись одни, но мы даем эту привилегию Гамлету, ибо это единственная для нас возможность быть допущенными к исследованию его сердца. «Я невидим», — говорит Оберон, и мы верим ему на слово, или, точнее, Шекспиру. К чему сцезивать комара, когда сама основа театра — это вымысел. Единственная оговорка — это то, чтобы исход был достоин внимания, чтобы следовало развлечение или поучение. И действительно, чем более активно чье-либо участие в представлении, тем больше удовольствия оно доставляет.

Из условностей языка, безусловно, важнейшей является поэзия. Это тончайшее средство преодоления ограничений драмы, средство, ведущее к наибольшему ее обогащению. Как отмечает Роналд Пикок, «она расширяет пределы выразительности, свойственные прозе, как более тонкий инструмент, который следует утонченности природы, раскрывая в большей степени личности, их мотивы, мысли и ситуации, чем это в состоянии сделать менее острые инструменты. Но поскольку все в искусстве подвержено взаимопроникновению, расширение смысла через увеличение поэтической силы воздействует на драматические свойства; если стих или поэзия делают выразительность драмы более законченной, они делают ее более драматической. Всем этим соображениям мы находим подтверждение в факте, всегда предполагаемом, но редко отмечаемом, что хотя стих не является необходи-



ИЛЛУСТРАЦИЯ РОБЕРТА КОЛЦОВА

мостью для изящного драматического искусства, все величайшие пьесы, тем не менее, написаны стихами».

Не последним достижением елизаветинцев было выковывание ими вида драмы, которая смогла выйти за рамки чего-то, совпадающего с окончательным правдоподобием, к отдаленнейшей области фантазии, и мягко переходила от одной крайности к другой в одной и той же пьесе, от приземленности «грубых ремесленников» до эфирности фей, от Калибана к Ариэлю. Елизаветинская драма была, конечно, больше счастливой случайностью, чем намеренным созданием, гибридной формой, сочетавшей условность и натурализм, прозу и стих, использовавшей всю обоюбо мира. Но именно доминирование поэзии открыло дорогу к исследованию областей мысли и чувства, до тех пор остававшихся белыми пятнами. Великая поэтическая драма — это расширение границ восприимчивости.

Могло показаться, что, подходя к квазифилософской точке зрения, я подразумевал, что драматурги, достигнув

формы стихотворной драмы, подчиняющейся условностям, разрешили проблемы драматической формы. Исторические факты, насколько они известны нам, указывают на совершенно другое развитие. Наиболее ранние формы драмы были стихотворными и полностью использовали условности, будучи более похожими на повествование, дополняемое действием, нежели на действие, дополняемое словами. В течение столетий постепенно вторгалась проза, и условности были отброшены в сторону. Точно так же, как язык возник в основном как синтетическая форма и эволюционировал в процессе анализа, так и драма, будучи одним из способов проявления языка, возникла как очень сложная форма и развивалась путем упрощения. В искусстве тем не менее развитие не обязательно означает улучшение.

Как форма языка, наиболее подходящая для более серьезных драматических жанров, стих был неоспоримым до восемнадцатого века. Только когда натурализм стал

доминирующим течением, поэзия была вытеснена со своего законного места в театре. Натурализм предполагает воспроизведение поверхности жизни; в своей крайней разновидности он стремится к научной беспристрастности, к чему-то, что является чуждым искусству, поскольку исключает воззрения автора, его отношение к изображаемым событиям, их интерпретацию. Поэзия, средством, которым эти воззрения могут быть выражены наилучшим образом, была исключена как слишком явный способ устройства языка.

Большинство великих драматургов в последние сто лет пытались обойти ограничения натурализма, не обращаясь к поэзии. Ибсен, Стриндберг и Чехов прибегли к символизму. Пиранделло исследовал природу театральной реальности, используя тактику шока, чтобы прорвать барьер между актерами и аудиторией, обусловленный натурализмом. Жироду и Ануй последовали за Кокто в попытках достигнуть более универсальной и постоянной выразительности, основываясь на античной мифе или создавая свои собственные квазилирические миры. Синг взял за основу силу и славу неиспорченной крестьянской речи. Шоу изобрел собственный вид пьесы-дискуссии, в которой он мог бы развивать свои разносторонние социологические интeресы. Наконец, О'Нил кропотливо экспериментировал почти с каждым видом театральных условностей. Другие, под влиянием теорий Адольфа Аппиа и Гордона Крэга, старались достигнуть повышенной выразительности через использование современных сценических средств и техники современной постановки, опираясь на декорации, освещение, ритмическое движение и другие дополнительные средства. Немецкие экспрессионисты пошли некоторым образом навстречу исполнению желания Крэга видеть актера замещенным марионеткой. Они низвели его до уровня компонента, более или менее равного декорациям, и таким образом отобразили дегуманизацию человека в механизированном обществе.

Кокто явился наиболее красноречивым выразителем концепции поэзии как синтеза всех элементов театра, поэзии театра («poésie de Théâtre») в противоположность поэзии в театре («poésie au Théâtre»). Это привлекательная теория, но результаты ее применения на практике незначительны и преходящи. Тем не менее, развиваемая Роналдом Пикоком, она принимает в расчет постоянные и специфические черты драмы. «Присутствие поэзии в пьесе, — пишет он, — это вопрос не только лингвистического текста. Необычайно ярка живописная и выразительная чувственность драмы. Присутствующие образы, а не смутно возникающие воспоминания поражают нас, и голоса и язык воздействуют на наши чувства, постоянно преследуя определенную цель. И драма, и поэзия присутствуют не в том или ином из этих феноменов, но в каждом из них. И парадокс всех видов искусства заключается также в следующем: смысл — эстетическая ситуация, в которой пьеса и мы сами сплавляемся воедино, — за пределами чувственной образности, но единственный путь проникнуть в этот смысл лежит через образность. Мы можем сказать, то, что трогает нас в пьесе, это не слова или другая любая деталь, а ситуация в целом. Нас волнует покинутый Лир, безумства которого, как бы ни был возвышен их язык, являются всего лишь симптомом. Нас волнуют Макбет и его жена, преследуемые угрызениями совести и страхом; волнует Гамлет, отчаянно пытающийся разглядеть свою мать сквозь мрак греха и предательства. Эти симптомы — образы и язык — должны быть яркими, но их яркость, какой бы ни была интенсивность, все же служит всеобщему образу и сути очищенной человеческой реальности, которую мы видим заключенной во всем этом. Одновременно создавая картину и язык, драма отражает одно из свойств самой жизни, которая является и до- и послелингвистической. Она существует частично вне слов, но частично также как слова. Два этих слоя взаимопроникаемы, но они не обязательно соединяются до конца, хотя степень единения может быть принята за показатель культуры. Эти условия, разделения, взаимопроникнове-

ния и единения одинаково сильно ощутимы в драме, давая глубину ее чувственной усложненности. Драма сначала стихийна, затем духовна, затем лингвистична. Она повторяет таким образом иерархию культуры, всегда выставляя вперед мир и существование, которые до-языка, и привнося их власть в мир-после-языка».

Этот глубокий анализ дает что-то вроде всеобъемлющего определения того предмета, о котором я говорю. Остается сделать некоторые уточнения. Мистер Пикок рассуждает о драме в том смысле, что слово явлено плотью — актер, подкрепляющий свои слова эмоциями, целиком действием, которое они означают, — а не о механических частях театрального представления. Сердце драмы — это интимное взаимодействие между драматургом и актером. Благодаря самой природе своего посредника драматург полагается на него. Если актерское воображение не оживит авторское, не может быть никакого театрального переживания, потому что в этом случае нечего делить с аудиторией. Актеры были известны своим утверждением, что им требуется только «две доски и чувство», но для устойчивого, связанного представления им нужен еще и текст, форму которого это чувство могло бы принять. Драма, как мы ее себе представляем в общих чертах, начинается с текста и завершается актером, находящим страсть, скрытую в тексте. Я полагаю, что не случайно пьесы, которые м-р Пикок цитирует, являются пьесами в стихах. Высокие страсти могут быть представлены лучше всего посредством поэзии.

Мы еще вернемся к проникновенному анализу поэтической драмы, произведенному м-ром Пикоком. В настоящий момент, бросив взгляд на его работу как на существенно расширяющую пределы воззрений Кокто на драму, мы снова обращаемся к Кокто и предполагаем, что неизменная сила воздействия не может быть присуща методам сценической постановки, меняющимся подобно тому, как меняются архитектура и механика театра. Как признает м-р Пикок, Кокто нашел осуществление своего идеала «poésie de Théâtre» в кинофильме, где постановка и авторские указания являются неотъемлемыми частями происходящего творческого процесса, а не всего лишь средством интерпретации, дополнения к представлению. Неотъемлемой частью пьесы являются слова, а слова, возведенные до своей высочайшей власти, — поэзия. Возможно, аксиома одного из собеседников в элиотовском «Диалоге о драматической поэзии» — «Вся поэзия тяготеет к драме, а вся драма к поэзии» — это, по выражению одного из его антагонистов, «лаконичное и опасное обобщение», но оно содержит элемент истины. Прежде всего оно выступает против самого того, что ни на есть распространенного представления, что поэзия — это не более чем нечто, добавляемое к пьесе, — декорация. Поэтическая драма не есть прозаическая драма, изящно отделанная поэзией. Это не отрывки красивого описания или глубокого размышления, которые делают пьесы Шекспира поэтичными, но целая концепция. Как пишет Элиот: «Писатель, создающий поэтическую драму, не просто человек, преуспевший в двух видах искусства и способный сплести их воедино; это не писатель, который способен украсить пьесу поэтическим языком и метром. Его задача отличается от задачи «драматурга» или от задачи «поэта», так как его узор сложнее и пространнее... Истинно поэтическая драма должна в своих лучших проявлениях соблюдать все правила обыкновенной драмы, но она будет органично вплетать их (используя метафору и заимствуя в нужном случае современное слово) в гораздо более богатый рисунок».

Если удовольствие, которое мы испытываем при просмотре поэтической пьесы, не отличается от того, которое мы ощущаем при поэтической декламации, то поэзия оказывается излишней. В театре «поэзия должна быть оправдана драматически». В истинно поэтической драме поэзия и драма сплавлены. Язык является действием, составляющим сущность: во-первых, в том смысле, что язык часто воплощает то, что он выражает, а во-вторых,

в том смысле, что это наиболее важная часть пьесы, реально делающая отчетливым то, что происходит. Чтобы понять, как язык может воплощать то, о чем он говорит, сравним отрывок драматургической прозы с отрывком драматургического стиха. Проза представляет оправдание Фальстафом своего пристрастия к бурдюку с шерри:

«В хорошем бурдюке шерри заключено двойное действие. Шерри поднимается в мой мозг; высушивает у меня там все дурацкие, и тупые, и грубые парь, окружающие мозг; делает его восприимчивым, быстрым, забывчивым, полным притких, огненных и сладостных образов; передающееся моему голосу, языку, живительный источник, шерри превращается в превосходный рассудок. Второе свойство вашего превосходного шерри таково, что оно согревает кровь, которая перед этим, холодная и застоявшаяся, покидала печень белой и бледной, что есть знак пугливости и трусости. Но шерри согревает ее, направляет ее от внутренностей к конечностям. Оно озаряет лицо, которое, как маяк, дает сигнал всему остальному в этом маленьком королевстве, человеку, братья за оружие. И тогда эти незаменимые простолюдины и провинциальные мелкие духи собирают меня по косточкам на смотр к своему капитану, сердцу, а капитан, возвеличенный и гордый этой свитой, совершает любой подвиг — и эта отвага исходит из шерри. Так что все искусство владения оружием — ничто без бурдюка, потому что тот приводит его в действие. И ученость — всего-навсего слитки золота под спудом у дьявола, пока бурдюк не приведет их в движение и не запустит в оборот».

Это пример великолепного использования образности, идущего настолько далеко в этом направлении, насколько возможно достигнуть этого в прозе, и один или два раза слова начинают ритмически делать то, о чем они говорят («шерри согревает ее, направляет ее . . .»). Но в основном Шекспир довольствуется здесь тем, что дает физиологический портрет «двойного действия» и описывает его эффект. Предел движения здесь — это логическое движение прозы.

Стихи взяты из «Феникс слишком привычен» Кристофера Фрая и отображают момент, когда, взяв кубок вина, Динамена, молодая вдова, поклявшаяся следовать за мужем в Аид, начинает понимать, сколь хороша может быть жизнь.

Есть тайна в мире
Где немного жидкости, с ни на что не похожим
Вкусом и запахом может задевать и пронзять наши чувства
Как если бы музыка играла в пустынных полях
И было движение в бороздах нашей памяти.
Откуда запах, откуда вкус
Дают нам такие крылья?

Отрывок дает нам ощущение само по себе и дает нам понимание его значимости для Динамены. Движение сопровождает весь процесс воздействия вина, когда оно пробуждает угасшие чувства постыющейся женщины к чуду Творения. Сравнение с движением прозы Шекспира иллюстрирует в некоторой мере различие, приведенное Генри Ридом в выступлении по радио: «Хотя ценные функции могут быть переданы в прозе, они всегда явятся второстепенными по сравнению с аналогичными в стихе. И только наличие ритма будет решающим в воздействии писателя на зрителя, когда ограниченное количество слов может быть представлено в речи, способной передать сносно и внятно сжатость и сложность характера и развитие психологического действия».

Ритм является одной из двух наиболее отличительных черт поэзии. Другая черта — это образность. «Образы в поэзии, — писал Т. Э. Хьюм, — не являются просто декорацией, это сама сущность интуитивного языка». Другими словами, они представляют собой один из видов предчувствия реальности. Более того, образы дают поэту возможность вложить в высказывание более чем одну смысловую единицу и обогащают его мысль чувствительностью

и конкретностью непосредственного переживания. Что-нибудь от воздействия остальных четырех чувств может быть добавлено к слуху. В строке Бернса «Моя любовь подобна красной, красной розе» сравнение вызывает в воображении пышность розы, ее благоухание, ее бархатную мягкость, оно использовано, чтобы передать, какой любовью поэта предстает перед ним. В этом выразительном средстве языка сходство явное, и границы уподобления остаются отчетливыми. Любовь Бернса обладает определенными свойствами, присущими только розе, но она не отождествляется с цветком. В метафоре, представляющей более сложную форму, сравнение подразумевается и границы уподобления совпадают. В приветствии Антония Клеопатрой —

приходишь ты, улыбаясь, из
Гигантской западни мира непойманным? —
мир уподобляется западне, которую Антоний избежал. Поэзия выражает значимость действия, или, как мы определили раньше, делает явным то, что реально происходит. По сути, метафора подводит итог теме этой пьесы, иллюстрируя правильность взгляда Уилсона Найта на пьесы Шекспира как на «развернутые метафоры».

(. . .)

Использование образности в метафоре является, однако, только локализованной и заметной формой того вида предчувствия, которое проникает гораздо глубже. То, что происходит в отдельной метафоре, происходит в пьесе в целом в поэтической драме, хотя это необязательно будет такая же связь между метафорой и всей пьесой, как мы видели в метафоре «западня» из «Антония и Клеопатры». Это продолжение того взгляда, который Элиот излагает в порядке эксперимента, когда он говорит:

«Возможно, то, что отличает поэтическую драму от прозаической, представляет собой вид двойственности в действии, как если бы оно протекало в двух планах сразу. Этим поэтическая драма отличается от аллегории, в которой абстракция является чем-то задуманным заранее, а не чем-то воспринимаемым по-иному, и от символизма (как в пьесах Метерлинка), где реальный мир намеренно сводится к минимуму — и символизм, и аллегория являются операциями по сознательному манипулированию рассудком. В поэтической драме какая-нибудь явная неуместность может явиться симптомом этой двойственности. Или же драма имеет некую подструктуру, менее явную, чем структура на театральном уровне».

Элиот имеет в виду нечто, слегка отличное от структуры или оков образности, то, что может быть названо надструктурой с тем, чтобы отличить ее от подструктуры, о которой он говорит. Это становится ясно позднее в том же эссе, когда, говоря о «Софонисбе» Марстона, он развивает свои взгляды: «По мере того, как мы знакомимся с пьесой, мы различаем другую структуру (pattern), скрытую за структурой, в которую персонажи вовлекаются сознательно. Это структура, которую мы различаем в нашей собственной жизни лишь в редкие мгновения рассеянности и отстраненности, задремав на солнце».

Эта структура может соотноситься со структурой образности и может становиться явной благодаря ей, но она может, с другой стороны, явственно отличаться от образности и лежать на гораздо более глубоком уровне. Она может быть в корне происходящего действия и обладать свойствами мифа, эта некая архитектурная структура человеческого существования или невыразимое видение сверхъестественной реальности. Она может всплывать на поверхность жизнеподобного действия и может обнаруживать себя как символизм или аллегория, и она может оставаться в погруженном состоянии. В поздних пьесах Элиота имелась тенденция к тому, чтобы эта структура оставалась погруженной.

Как бы то ни было, выступая на поверхности или будучи погруженной, эта структура является сутью пьесы, ее объединяющим принципом, и все части пьесы подчинены этой структуре. Персонаж является именно одной из таких

частей, и, следовательно, как отмечает м-р Мартин Браун, «поэту не удастся, совершенно умышленно с его стороны, удовлетворить одно из желаний современной аудитории. Он не изображает персонаж с позиции психологического реализма. Для него опыт человеческого существования является обобщенным, и поэтому персонаж является символом. Какой бы пронизательной ни была его наблюдательность по отношению к персонажу — и вряд ли чья-нибудь была бы больше, чем элиотовская, — поэт будет с намеренной педантичностью сводить изображаемое им к тем фактам, которые продолжают развитие его структуры. Личность, рассматриваемая глазами поэта, все же личность, уникальная в своей индивидуальности, — истинный персонаж. Но его изображают не за его индивидуальность, а за то, что он служит типичным примером какой-нибудь стороны человеческой природы».

Драматург-поэт стремится в системе своего искусства развивать только те стороны своих персонажей, которые иллюстрируют его тему. Это, возможно, та сторона поэтической драмы, которая представляет наибольшую трудность для публики, воспитанной на натуралистической драме.

Основная структура является одним из аспектов органического единства поэтической драмы, формированием не только частей, но и целого в манере, аналогичной музыкальной. Как отметил Элиот в радиопередаче для школьников, «работать над пьесой в стихах означает работать и как музыкант, и как драматург-прозаик: надо видеть вещь как целую музыкальную структуру... Драматург-поэт должен оказывать влияние на вас сразу на двух уровнях, драматургических, персонажами и сюжетом. Требования, предъявляемые к хорошему сюжету, столь же строги, как и предъявляемые к прозаической пьесе... Пагубно для поэта, старающегося написать пьесу, надеяться скрыть дефекты в развитии пьесы взрывами поэзии, которые не помогают действию. Но в глубине под действием, которое должно быть полностью постижимо, должна быть музыкальная структура, усиливающая наше волнение тем, что она насыщает его чувством, почерпнутым из более глубокого и менее отчетливого уровня. Каждому известно, что есть вещи, выразимые в музыке, которые не могут быть выражены речью. И есть вещи, выразимые в поэтической драме, которые не могут быть выражены ни в музыке, ни в обыкновенной речи».

(...)

Этот род порядка — органический порядок, вырастающий изнутри, а не механический порядок, навязанный извне, — невозможен для прозы. Так как поэзия является искусственным средством, не привязанным к правдоподобию, она обладает большим простором и гибкостью. Она может варьироваться от почти натурализма до крайнего формализма. Она «может иметь тенденцию к лирической, или медитативной, или философской, или любой другой, избегая срывать со своего якоря в драматической схеме». С другой стороны, как замечает Элиот, «истинно драматическая поэзия может быть использована так, как ее использовал Шекспир, чтобы сказать самые прозаические вещи».

Обычно, однако: поэт как в театре, так и вне его говорит более возвышенным языком, чем обыкновенный. Кольридж отмечает: «Если метр будет добавлен, все прочие элементы должны быть приведены в согласие с ним. Они должны быть таковы, чтобы оправдать то постоянное и непосредственное внимание к каждому элементу, какое рассчитано возбудить строго рассчитанное повторение ударения и звука».

Это повышенное сознание, возможно, и есть главная отличительная особенность поэтической драмы в преддверии. Поэзия — это род некоего иного измерения, и поэтическая драма нацелена не только на то, чтобы привлекать нас действием, но также и на то, чтобы открывать значительность действия, используя в своих целях состояние более острого восприятия, которое вызывает поэзия.

Это повышенное сознание происходит частично из возможностей поэзии открыть доступ к глубинным уровням бытия. Ритм представляется действующим как один из способов высвобождения, нечто вроде гипноза; и образы, возникающие из глубины подсознательного, дают чувственное постижение существования, недоступное для прозы. Это видно, например, в том, что только посредством поэзии могут быть выявлены глубокие запасы выразительности в мифе, и это возможно потому, что метафора и миф являются родственными способами постижения реальности, и разница между ними заключается скорее в масштабах, чем в их природе.

Говорят, Элиот высказался, что поэзия — это «форма, в которой реальность постигается наиболее глубоко». Поэзия одна делает возможным создание сложной художественной структуры, соответствующей всей сумме опыта человеческой жизни, и воспроизводит различные уровни — чувственный, логический, психологический и духовный, — на которых проживается жизнь. Как пишет Элиот, «по сути, это привилегия драматической поэзии быть способной показать нам несколько планов реальности сразу».

Различные планы реальности могут сосуществовать в прозаической драме, но в прозе они представляют более или менее намеренное приспособление и образуют концепт, воплощаемый в конкретную пьесу. Этот концепт является скорее логическим, почти математическим, чем интуитивным и органичным, каким является концепт поэтической драмы. Более того, символизм прозаической драмы с трудом может быть перенесен из одной пьесы в другую. Символизм каждой пьесы стремится к уникальности. Постигание драматургом-поэтом реальности, с другой стороны, не является приспособлением ad hoc.* Это нечто врожденное, свойственное ему, если не идентичное ему, его неизменная концепция жизни. Таким образом, во время как символические системы прозаических пьес Ибсена взаимоисключающе, поэтические миры пьес Шекспира, хотя имеют совершенно различные атмосферы, принадлежат к одной планетарной системе, принадлежат, так сказать, ко вселенной великого драматурга-поэта. И поскольку эта вселенная является его концепцией той Вселенной, которую мы все населяем, то мы открываем, что она помогает нам понять себя и наш мир.

Может показаться, что чрезмерное значение придается метрической организации, и м-р Пикок возражает против того взгляда, что «вся поэзия зиждется только на одном роде метафоры или «символа» — поэтическом образе в стихотворном тексте... Конечно, образность является важнейшей, но что имеет значение для драмы, так это принцип метафоры и символа не только в языке и в стихах, но во всем разнообразии образности, которую драма, как вид искусства, использует. Персонаж или персонажи, события и действия, декорации, а еще чаще сама пьеса как целое — все это определенным образом символы, излучающие свою энергию через все детали образности и создающие целую структуру метафоры и символа».

Все это очень проникновенно, но, я бы сказал, при этом не принимается во внимание тот факт, что на практике такой род интеграции достигим только в стихотворной драме. Стих сам по себе кажется способным внести в пьесу ту способность чувствования, которая достигает такой глубины.

В наши дни дискуссия о поэтической драме, кажется, сталкивается с определенными семантическими трудностями, которые так ясно очерчены м-ром Пикоком:

«Необходимо всегда различать по меньшей мере три основных значения слова «поэтический». Оно указывает на стихотворный текст, и это значение восходит исключительно к классическим временам. Оно означает, во-вторых, романтически-поэтический, и это относится больше к определенным темам и мировосприятию независимо от стихотворной или поэтической формы, как мы видим в сказках или у такого автора, как Метерлинк, чьи пьесы,

* для данного случая.

хотя и являются прозаическими, высокоромантичны. В-третьих, это слово означает лирический и музыкальный стиль, первично в стихах, но и в прозе также. Эти варианты, взятые вместе, показывают, насколько невозможно свести все значения слова «поэтический» только к стихотворным композициям или к романтическим. Разнообразные влияния и толкования к настоящему времени неразрывно переплелись».

Я согласен, что настоящая ситуация представляется трудной, но я не согласен с тем, что «в качестве альтернативы надо снова расширить понятие поэтического». Если мы последуем этому предложению, то скоро будет неясно, что же в точности означает слово «поэтический». «Поэтическое» присуще поэзии, любое другое, более широкое, толкование по аналогии происходит из той способности чувствования, которая является уделом поэзии и не проявляется в полную силу ни в каком другом искусстве, кроме поэзии.

(...)

Поэзия делает отчетливым то, что происходит реально, и в то время как непревзойденное мастерство в этом отношении принадлежит Шекспиру, возможность этого была заложена в самой концепции Вселенной елизаветинской эпохи. С потерей этой концепции под воздействием научной революции семнадцатого века и с перерывом в театральной традиции поэтической драмы, которая явилась результатом закрытия театров в 1642 году (когда они вновь были открыты в 1660-м, на отечественную традицию наложился французский классицизм), поэтическая драма была лишена жизненности. В стремлении идти в ногу со временем театр в своем движении повернул в сторону прозаической драмы и в конечном счете — в сторону натурализма. Старая система условностей была выброшена за ненадобностью в угоду единственной условности — хотя никто и не думал считать это условностью: то, что происходит на сцене, является «кусочком жизни». Отлученная от реальности, на изображение которой теперь претендовала прозаическая драма, стихотворная драма превратилась в чистую напыщенность. Она стала средством для изображения героического, грандиозного. Романтическая склонность к яркости, исключительности, *le culte du moi*^{*}, не сделали ничего, чтобы исправить это положение, и соответственно стихотворная драма превратилась в кабинетную драму, чтобы разыгрываться в театре идей, не будучи связанной ни ограничениями настоящего театра, ни недостатками человеческой природы, которые изображает театр. К этому времени становится важнейшей задачей восстановления реальности изображения человеческой природы в стихотворной драме и ее возвращения в театр.

Большинство попыток оживления поэтической драмы провалилось с самого начала: использовавшийся поэтический язык не был действительно живым языком. Обычно это была бледная имитация свободного стиха елизаветинцев, и соответственно совершенно искусственный язык, не имеющий корней в языке и ритмах живой речи. Как напоминает Элиот, «никакая поэзия... не является в точности той речью, которой говорит поэт и которую он слышит: но она должна быть в таком же отношении к речи его времени, чтобы слушатель или читатель мог сказать: «это звучит так, как говорил бы я, если бы я разговаривал стихами...». Музыка поэзии... должна быть музыкой, скрытой в обыкновенной речи своего времени».

Если это справедливо по отношению ко всей поэзии, насколько более это справедливо по отношению к речи, рассчитанной на то, что она будет произноситься на сцене, как речь реальных людей: «Зависимость стиха от речи намного более непосредственна в драматической поэзии, чем в любой другой». Однако именно на этом пути поэтическая драма сбилась с дороги в семнадцатом веке. Провал пьес великих поэтов девятнадцатого века обычно приписывают отсутствию театрального опыта у них. Элиот,

однако, предполагает: «Главным образом не отсутствие опыта, или отсутствие развития и завязки, или слабая задействованность действующего лица, или отсутствие еще чего-нибудь, что зовется «театром», делает эти пьесы такими безжизненными: главным образом ритм речи этих пьес таков, что мы не можем ассоциировать эту речь ни с одним человеческим существом, кроме декламатора стихов».

Поэтому работа самого Элиота, связанная с театром, и важная фаза в развитии современной поэтической драмы, инициатором которой он явился, началась с восстановления ритмов и языка драматической поэзии. Элиот успешно справился с этим в недраматической поэзии, прежде чем перейти к драме, но здесь его проблема усложнялась общим смущением относительно драматической поэзии в наши дни, смущением, которое было результатом потери традиции поэзии в театре. Натуралистическая проза была доминирующим языковым средством в театре, и Элиот много энергии потратил на преодоление предубеждения против поэзии, с одной стороны, и на преодоление осознанного наслаждения ею, с другой. Как отмечает Элиот, «осознанное наслаждение поэзией может быть так же плохо, как неприятие поэзии, так как это приводит к неверному акцентированию внимания». Это, конечно, следствие утраты одной из принятых в искусстве условностей.

Некоторые другие художественные условности, однако, оказались более устойчивыми, возможно потому, что они твердо укоренились на почве театральной реальности. Неискушенная публика, какую еще до недавнего времени можно было видеть на представлениях английского мюзик-холла, не испытывала трудностей в восприятии таких условностей, как, например, монолог. Публика отдает себе отчет в том, что она развлекается, но едва ли осознает, какими художественными приемами ее развлекают. Простонародная публика инстинктивно реагирует на малейшие изменения шекспировских художественных приемов. Кажется, что только театральные критики и интеллектуалы от культуры испытывают затруднения, чтобы должным образом приспособиться... Таким образом, Элиот не испытывал особых затруднений при возрождении некоторых условностей старой драмы в пьесе «Убийство в соборе», написанной для неискушенной публики.

Но, как заметил один из собеседников в «Диалоге о драматической поэзии», «отсутствие моральных и социальных условностей не меньше, чем отсутствие условностей художественных, стоит сегодня на пути поэтической драмы». У нас нет общепринятых стандартов, которыми можно руководствоваться в оценке значимости человеческих поступков, а они и являются истинными корнями поэтической драмы. Человеческие поступки, как я полагаю, значительны не сами по себе, но только в сопоставлении с ценностями вне человека. Самое совершенное средство этого сопоставления — поэзия, и ценности эти есть неотъемлемая часть религиозной концепции бытия, веры в то, что конечной целью существования является Бог. Очевидно, отношение к человеческой жизни с религиозных позиций необходимо для написания истинно поэтической драмы. За исключением пьес Одена и Ишервуда, вся серьезная поэтическая драма Англии конца тридцатых была религиозна в своей основе. А драматургия Одена и Ишервуда с течением времени, вероятно, окажется не более чем интересным феноменом тридцатых годов, ибо лишена этой основы. По-настоящему важный период в развитии современной поэтической драмы начался, когда драма вернулась к своим истокам в церкви и уже оттуда двинулась в коммерческий театр, представленный небольшими специализированными театрами. В этом движении Элиот был настолько лидером, что временами казался одинокой фигурой, упорно шедшей вперед на свой страх и риск.

Перевел с английского
ГРИГОРИЙ ГОНДЕЛЬМАН

* культ индивидуальности (фр.)

ПОЭЗИЯ ЭЛИОТА

И . . . КОЛЛЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛИЗМА

Т. С. Элиот, пьесам которого посвящена книга Д. Джоунза, американско-английский поэт, драматург и критик, являющийся одной из ключевых фигур в развитии литературы XX века. Творческая сторона его натуры счастливо сочеталась с незаурядным критическим даром, и это надо скорее рассматривать как единое целое, чем разделять, как разные грани одной творческой личности: многие места в его поэмах и пьесах могут быть проиллюстрированы соответствующими примерами из эссе.

Чтобы нам легче было представить себе ту роль, которую сыграло возрождение традиций драматической поэзии в мировом литературном процессе, Джоунз целиком посвящает первую главу книги тому месту, которое занимают поэзия, драма и их органичный синтез в литературе.

Тут может, однако, возникнуть вопрос: а к чему, собственно говоря, такая статья, посвященная вполне специфическим филологическим проблемам, среднему читателю? Ведь, в общем, только в политике и в медицине разбираются все, и человек без специальной подготовки может при чтении почувствовать себя собеседником, подошедшим к середине разговора: непонятно, о чем этот разговор и к чему он ведет. Конечно, в нашем обществе, где гуманитарное образование свелось к изучению «Морального кодекса строителя коммунизма» в школе и «Истории КПСС» в вузе, подобный подход к проблемам языка — нормальное явление. Однако вот что пишет отец американского структурализма Леонард Блумфилд в своей книге «Язык»:

«Языковой коллектив — это группа людей, взаимодействующих посредством речи. (. . .) Все так называемые высшие формы деятельности человека, то есть специфические для него виды деятельности, порождены тесным сотрудничеством между отдельными людьми, которое мы называем обществом, и это сотрудничество в свою очередь осуществляется с помощью языка; таким образом, языковой коллектив — это наиболее значительная из социальных группировок».

Вряд ли стоит пренебрегать такой оценкой роли языка в обществе, особенно в наше время, которое уместнее было бы назвать не «веком атома», а «веком информации». Способность лаконично излагать и избирательно оценивать любую информацию — одно из главных условий, обеспечивающих успех. Кстати, Данте был крупным политическим деятелем Флоренции, а Гете был министром в Веймаре.

И если мы не будем видеть в поэзии

лишь птичий язык яйцеголовых невротиков, а драму рассматривать как прообраз кино, то, упрощенно говоря, поэзия и драма есть наиболее компактные модели нашего мира и нашего бытия: поэзия — в форме ритмически организованного образного языка, драма — в форме непосредственного изображения человеческих действий.

Итак, становится понятным, почему столь многих западных исследователей привлекает творчество Элиота, в частности его поэтические драмы. Подобное пристальное внимание к тонким и выразительным формам реальности, как языковой, так и неязыковой, свойственно современным представителям западной цивилизации. Причем речь идет не о представителях интеллектуальной элиты, а о западном сознании вообще. Здесь, на уровне сознания, психологии, а следовательно — языка и поступков, проходит незримая граница, отделяющая нас от людей, каждый из которых осознает и ощущает себя личностью или по крайней мере стремится к этому; людей, умеющих наслаждаться жизнью каждый день и ценить каждую минуту своей жизни. В чем причины сочетания такой раскованности и целеустремленности, почему мы не умеем радоваться жизни так естественно, а если и веселимся, то веселье наше мучительно и натянуто? Вряд ли можно все свести к этнопсихологии русских и других наций, населяющих территорию бывшей «тюрьмы народов», да и сами эти нации слишком различны по своему характеру. Скорее дело в имперской православно-коммунистической традиции противопоставления Святой социалистической Руси Вавилону всего остального, иноверно-империалистического мира. И если на Западе свобода личности может варьироваться в пределах от осознанной свободы совести каждого индивида до области «коллективного бессознательного», то нам оставлена только одна свобода — быть конгломератом «коллективного сознательного». Мы уже догадываемся, что, в свою очередь, такое понятие, как «коммуналка», или такая проблема, как «дефицит», принципиально недоступны пониманию жителя Запада. Однако посмотрим глубже: столь естественный и привычный для нас процесс пожизненного «выдавливания из себя раба» — каким диким и нелепым он должен казаться любому нормальному представителю свободного мира.

«Когда говорят пушки, музы молчат». Справедливо ли это в нашей сегодняшней ситуации, иными словами, является ли гигантский дефицит культуры в нашем обществе следстви-

ем тоталитарного режима и развала экономики, или же многолетнее и многовековое пренебрежение общей культурой привело к нынешнему голоду и безытности, к тому, что народ, который принято было считать носителем великой культуры, стоит вместе с окружающими его менее великими народами на грани духовного и физического вырождения?

Может быть, действительно, не будь церковного раскола XVII века, не было бы и октябрьского переворота, но процесс секуляризации является объективным процессом, не щадящим ни одну цивилизацию и эпоху. Другое дело, что для индивида, сознающего себя деперсонализованной частицей социального механизма, получение самой минимальной свободы совести является трагедией. Такая свобода тяготит его, как нищего — деньги, и утраченному телу Христову, частицей которого он ощущал себя, необходимо отыскать замену, пусть даже — как это ни парадоксально — коммунистическую формацию. Это не тот естественный для западной цивилизации процесс секуляризации, где индивид волен осознавать или не осознавать себя «храмом Духа Святого», где мелкие будничные хлопоты могут хотя бы в подсознании возвышаться до акта Богослужения, а поэзия и драма представляют из себя посильные мирские субституты молитвы и церкви.

Разумеется, все вышесказанное не следует понимать как слепое преклонение перед Западом или попытку представить русских тупой, безликой массой. Речь идет совершенно о другом, а именно о принципиально разных характерах западного сознания, ориентированного на развитие индивидуальности, и восточного, тяготеющего к среднему арифметическому в социальном плане. За примерами далеко ходить не надо: только здесь могло возникнуть такое выражение, как «агрессивно-попкорное большинство», и только у нас могли позволить этому большинству издеваться над академиком Сахаровым, выступившим с альтернативной программой (при том, что в Президиуме Съезда народных депутатов не нашлось никого хотя бы на роль Пилата — воскликнуть «Esse Homo»). Что ж, нет ничего, отражающего сущность национального характера вернее, чем языковая стихия. Более того, язык, в нашем случае русский, не только отражает социальную реальность, но в какой-то мере и властен над формированием сознания каждого русскоязычного человека независимо от его происхождения. Это верно и по отношению к представителям других

народов, чьи языки испытывают сильнейшее влияние и даже давление со стороны русского языка, — словом, ко всем тем, кого в мире кратко называют «русскими». Здесь интересно отметить следующее: сейчас в Латвии слышатся жалобы и упреки в том, что латышский язык перестал функционировать во многих областях жизни, что отсутствует латышская терминология во многих сферах человеческой деятельности. Что есть, то есть, пока положение таково. Ну а наш суперязык «международного общения», с ним что, все в порядке?

Лексикон канцеляризмов и классово-революционного негодования, синтаксис, приспособленный для описания достижений народного хозяйства — это действительно такая сокровищница средств для выражения сокровеннейших движений души, что перегнали нас в этом разве что северные корейцы. Но можно ли, не раздражая слух неискущенной публики, передать русским языком аутентично переведенный поток сознания, рок-текст или труд в области гуманитарных наук, в которой мы отстаем неизвестно на сколько десятилетий?

Более того, даже оригинальные русские тексты, написанные автором, обладающим внутренней свободой, кажутся написанными не по-русски; вспомним хотя бы «русскую латынь» Мандельштама. Дело не в мастерстве переводчика, оторванности элиты или бедности русского языка — дело в нашем сознании. Свобода как неотъемлемая часть сознания атрофирована у нас окончательно, и прямым следствием этого является прогрессирующий паралич русского языка, этого удивительного и уникального пересмешника.

ГРИГОРИЙ ГОНДЕЛЬМАН

ТОМАС СТЕРНС ЭЛИОТ

ОПОССУМОВА КНИГА ПРАКТИЧЕСКИХ КОТОВ

Как кота назвать

Сложнейший вопрос — как величать кота.
Но вы-то решите, что выжил я из ума,

когда

Я сообщу вам, что у любого кота, непременно,
Есть ТРИ РАЗНЫХ ИМЕНИ — ОДНОВРЕМЕННО.

Во-первых, конечно же, есть имена, что в ходу у семьи ежедневно,

Такие, как Питер, Алонсо и Джон,
Такие, как Виктор и Джонатан, Джордж или Тэнно,
И много подобных, разумных, удобных имен.

И есть имена прихотливей, коль вам их звучанье милее

И коли он джентльмен, если леди — она,
Вроде Электры, Адметы, Плато, Лорелен,
Но и это суть тоже расхожие имена.

Кот нуждается в имени собственном,
Возвышающем, с иными не родственном —

Чтобы двигаться мог он изящно и ловко,

Чтобы хвост мог держать морковкой!
Подобных имен я могу перечислить немало,
Скажем, Манкустроп, Гуаксо и Корикупот

И Бамбалурино и Джелиларум,

Из тех, что мог бы носить

только один кот.

Осталось еще одно имя. Природа его иная.
Нет, его нам, увы, не дано угадать,
ОДИН ТОЛЬКО КОТ САМ С СОБОЙ ЕГО ЗНАЕТ,

Но никогда, ни за что не захочет назвать.

И когда вы столкнетесь с котом в медитации,
С застывшим в своем размышленьи котом,

— В чем же причина подобной прострации?

Он размышляет об имени том!

Об имени имени имени имени имени том,

О несказанно невыразимом,

Непередаваемо необходимом,

О положительно неотразимом

Непостижимо-единственном имени том.

Песенка Джеликл

Кошечки Джеликл приходят ночью,
Вместе приходят (кто же их звал?),
Они начинают свой Джеликл-Бал.

Кошечки Джеликл черны и белы,
Кошечки Джеликл бодры и ярки,
Кошечки Джеликл скорее малы,
И радостно слушать их тенорки.
Резвы они, веселы, но без истерики,
И каждая ждет, как никто не ждал,
Восхода Луны по прозвищу Джеликл,
С которым начнется Джеликл-Бал.

Они черноглазы, в вокале и грации
Хотели бы не упустить ничего,
Умеют и прыгать и кувыркаться и
Джигу умеют плясать и гавот.
Но до появления своей Луны
Джеликл будто не помнят об этом,
Дремлют и видят красивые сны
Иль занимаются туалетом.

Джеликл эти белы и черны,
Очень умеренной величины;
Джеликл скачут как мяч от стены,
В глазах у них бродит сиянье Луны,
Джеликл очень спокойны утром,
Ровны и спокойны в течение дня,
Томно зевая и носики пудря,
Силы свои, очевидно, храня
Для приложенья в волшебном и мудром
Танце при свете ночного огня.

Джеликл эти черны и белы,
Джеликл, как я сказал, малы,
И если к ночи придет непогода
И тучами небо заволочет,
Спляшут они вам под крышей у входа,
Грустно взглянув на пустой небосвод.
Ну, а наутро опять, как и прежде,
Лентяйками б их кто угодно назвал,
Они же живут ожиданьем, надеждой:
О, Джеликл-Луны! О, Джеликл-Бал!

Мангоджерри и Румпельтайзер

Мангоджерри и Румпельтайзер были парой котов,
Их знали повсюду как канатоходцев и клоунов,
И как синтетических акробатов.

Дом же у них был в Виктория-Гроув
или где-то в той местности,
Но служил он лишь базой для них:

неисправимых бродяг,
знал их весь Лондон
и даже окрестности.
Если с грохотом вдруг распахнулось окно, будто в дом забрело
привидение,
В погребе если таинственный шум, а затем кавардак,
как на поле сражения,

Если с крыши внезапно летит черепица
И к хозяйке в постель дождевая водица сочится,
Если в прихожей разлезлась циновка,
Белье после стирки упало с веревки,
И если утром одна из дочек
Теряет какой-то, любимый очень
Бриллиант или изумруд,
Все, кто в доме, кричат, можно даже сказать — орут:
— Этот, тот, тот,
Тот проклятый кот!

Мангоджерри — или же Румпельтайзер! —
и при всей голословности
утверждения,

Чаще всего остаются в таком убеждении . . .
Да, налетчики были что надо они, были взломщики первого класса!
В заливанье же баков, в запудривании мозгов были просто
первейшие асы . . .
Был у них домик где-то в Виктория-Гроув. Но определенного
не было
места жительства.

И, симпатяги, любили они поболтать со скучающим полисменом
на углу
о политике консервативного
правительства . . .

И вот представьте — семья собралась на воскресный обед,
Устав от обедов в кафе, от диет.
Намерены душу они отвести на поросенке с хреном.
Тут повар является из-за сцены
И сообщает им, бледный как тень:
— Вам придется чуть-чуть подождать, ваш обед состоится в
другой день,

Ваш поросенок внезапно исчез из плиты — и вот . . .
И конечно же, все закричат: — Это этот проклятый кот!
Мангоджерри — или же Румпельтайзер! — и, при всей
голословности утверждения,

Чаще всего остаются в таком убеждении . . .
В их тонкой работе главной была способность работать на
пару;
Трезвейший ведь вздрагивал и холодел, как от ночного кошмара,
Когда ураганом по дому летала какая-то тень и под присягой
ответить мог кто бы
Кто это был — Мангоджерри? — или же Румпельтайзер? Или то
были оба? . . .

Если в столовой послышался шум,
В буфете сервиз сказал гулко — Бум . . .
В спальне пропела прощальное — Дзынь,
Ваза, одна из фамильных святынь —
Вздыхает семья. Ну вот,
Так который же был это кот —
Мангоджерри или же Румпельтайзер? И — при всей
аккуратности рассуждения
Вопрос остается без разрешения.

Гус: Кот в Театральных Дверях

Гус — это Кот в Театральных Дверях.
Настоящее имя его, говорят,
Звучит Ас-па-ра-гус, но экономия сил и вкус
Заставляют нас звать его просто Гус.
В одежде потертой, как грабли он тощ,
Дрожат его руки, ушла из них мощь.
Да, был он краскою кошачьего рода,
Но больше не страшен мышьиной породе!
Не тот он уже, каков был в свое время,
Когда его имя гремело на сцене.
И, за бутылкой, коль платит другой,
Он вспомнит премьеры эпохи былой.
Ибо был он звездой театральной игры,
В партнерах его ходил Ирвинг и Три . . .
Припомнит он с радостью, пусть не без боли
Триумф колоссальный в самом Альберт-Холле,
Но высшие лавры снискал этот кот,
— Так Фаяфрорфиддл, Демон болот.
«Умел пробуждать я и радость и грусть,
И сотни ролей помню я наизусть,
В импровизациях, в фокусах дока
Играл я хвостом, и спиной, и боком.
Котенка из шляпы достать я умел исхитриться, и
В спектакли вводился с одной репетиции.
В любом амплуа, в самых разных ролях
Мой голос веселье вселял или страх!
И выше творенья не знает народ,
Чем Фаяфрорфиддл, Демон болот.
Еще вы нальете ему граммов сто,
Тогда он охотно поведает, что
Чудом он был театрального мира,
В трагедиях Марло и в пьесах Шекспира
Играл он — наверное б мог и сейчас —
Тигра, убитого выстрелом в глаз.
И заявит вдобавок, что больше никто, так, без лишнего призвука
Не сумеет издать жуткий вопль в миг явления призрака.
А потом спросит вас: — «Где у нынешних та тренировка?!
Кто до карниза добрался бы ловко?
Спасая дитя, кто б над сценой прошел по веревке?
А где то глубокое знание Теории,
Что было у нас в дни правленья Виктории!?
Нет, нынче не встретишь той мудрой муштры,
Что в театрах была моей лучшей поры! . . .»
А потом, почесавши облезлый живот,
Скажет грустно он вам: — «Нынче театр уж не тот!
Может быть, все это очень и мило,
Но скажите вы мне, где тот пыл, где та сила,
С которою я потрясал человеческий род
Как Фаяфрорфиддл, Демон болот?!»

Р. С. Кроме вышеописанных котов, в книге присутствуют:
«Старый Деутерономи»
«Рум Тум Тугер»
«Мистер Мистофилис»
«Маккавити: Кот загадочный»
«Бустофер Джанс: Кот с Главной улицы»
«Скимблшанкс: Кот железнодорожный», и истории о «Последнем бое Грольтайгера»
«Об ужаснейшей битве пеков и поликлов: с некоторым описанием участия в ней шпицев и мопсов и о РЕШИТЕЛЬНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОГО КОТА РУМПУСА».

Старая добрая Гумби

Я знаю кошку из породы Гумби, по имени Джениннигра,
Всю в пятнах, как у леопарда, в полосах, как у тигра.
Она весь Божий день сидит на лестнице, и на крыльце
или на клумбе

Сидит, сидит, сидит — и это все,
чем днем известны кошечки
породы
Гумби.

Но стихли шум и суета, и вот сгустилась тень.
Теперь-то Гумби и пора начать рабочий день.
В постелях все, заснул уже

последний, кто не спал,
Тут Гумби, юбки подоткнув,
крадется вмиг, в подвал,

Ей, озабоченной нравом и бытом мышей,
Их поведение не по душе.

Поэтому, строя их в ряд на циновке,
Музыке учит она их, а также спортивной сноровке.

Я знаю кошку из породы Гумби, по имени Джениннигра.
Равных ей трудно найти, любит она тепло

и ненавидит пустые игры.
Днем восседает у очага, на шляпе моей и под часами
на тумбе

Сидит и сидит и сидит и сидит, и это все,
чем известны днем
кошки породы.
Гумби.

Но стихли шум и суета, уже сгустилась тень,
Вот тут-то Гумби и пора начать рабочий день.
Считает она, что мышьиные писк, суета и метания
От неправильного происходят питания.

И, зная, что жизнь эта стоит усилий,
Засучив рукава, им готовит котлетки из мыла,
Пудинг мышьиный из старого хлеба и сыра,
Из разных объедков жаркое и суп для большого мышьиного
пира.

Я знаю кошечку по имени Джениннигра, из породы Гумби,
Рыбу любит она и форелью не брезгует студнем,
Постоянно сидит у окна, над плитой, на лужайке за большим пнем.
Сидит и сидит, сидит и сидит, и это все, что об этих кошках известно
днем,

Но стихнет шум и суета, чуть-чуть сгустится тень,
Тогда-то Гумби и пора начать рабочий день.
Считает она, что тараканам усатым

солидное нужно занятие,
Что только оно их способно спасти от гибели и от проклятия,
А потому из нахалов и увальней, какими все знают их,
Она формирует отряды надежных, правдивых бойскаутов,
Верных отчизне, высокую видящих цель, она даже
Пишет для них тараканьи марши, чтобы тверже стояли на
страже,

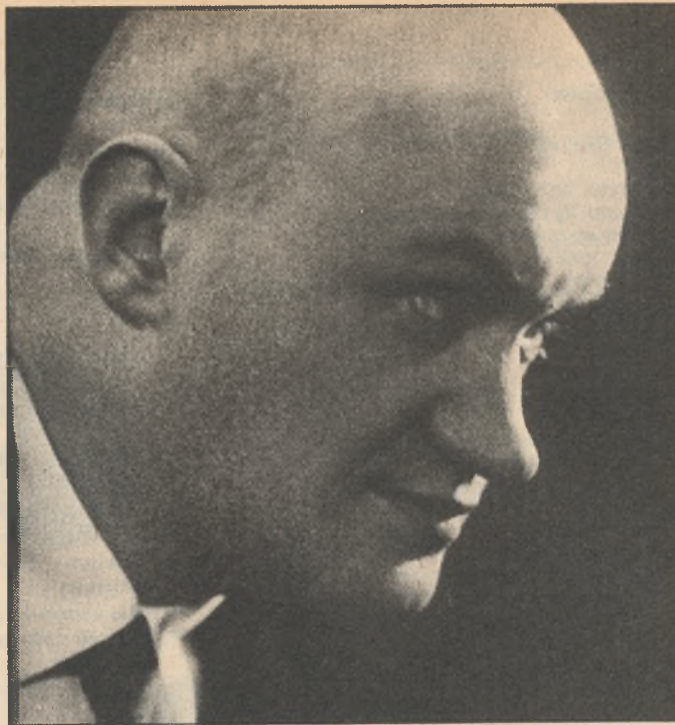
Так прокричим же Ура! Троекратно врагам разгильдяйства,
Кошечкам этим, от разоренья хранящим хозяйство . . .

Вольный перевод с английского
Федора ВАСИЛЬЕВА.

Чак, разумеется, родился в Риге, в 1901 году, учился в гимназии, пережил тогда болезнь — запойного чтения, столь же неизбежную, кажется, для литератора, как одинокая смутная болезнь юноши, которому придется стать шаманом. И точно так же — традиционно, по правилам игры — немедленных результатов эта болезнь не дала. Началось всякое разное: первая мировая (ему 13); эвакуация — Саранск, Москва, Московский университет (медицинский факультет); служба в армии — военным фельдшером, каким-то загадочным культработником; возвращение в Латвию в 1922 году; медицина, педагогика и — видимо, постепенно — литература. Первые сборники выходят в 1928 году («Сердце на тротуаре», «Я и это время»), в 1929 еще два («Вселенский кабак» и «Апаш во фраке»). Когда вышел первый, ему — двадцать семь, причем, надо полагать, публиковал он не из запасов, а написанное вот только что — тогда издавали быстро (а сборники — тонкие, тринадцать—семнадцать стихотворений). 1930 год — «Поэма об извозчике», 1932-й — книга «Мой рай», и так далее, с той же интенсивностью: поэзия, проза и обычная работа профессионального литератора — не очень, впрочем, далее, потому что сороковой год, затем — немцы, война кончается — Чака принимают интенсивно перевоспитывать, он — то ли в самом деле искренне, то ли недоуменно — пытается соответствовать, умирает, года не дожив до пятидесяти.

Для латышской литературы Чак — литератор вне сравнений и рангов, из тех, кто поворачивает ход какого-то привычного, инерционного развития. Первый латышский поэт-горожанин, поэт, вне сомнений, европейского класса. До сих пор, увы, почти не существующий в других языках, за исключением русского. А здесь произошла история редкая. Чак уже не напишет ничего по-латышски, но — точно так же — ничего (стихов, во всяком случае) не напишет уже и по-русски. То есть он осуществился и как русский поэт. То, что сделал переводчик Владимир Невский (1911—1968), не является, ну, скажем, эталоном, но просто созданием русского поэта Чака. Чака после Невского, конечно, почему бы и не переводить — качественные и просто хорошие варианты появляются, — но это даже не ориентация на тексты Невского, а дописывание стихотворений за умершего Чака (от сочинений «в духе» до вариаций на его темы). Переводим Чак несколько иной, написавший, скажем, «Задетые вечностью» (которого, согласно новым правилам перевода имен собственных, можно называть и Чакс). А также, конечно, Чак-прозаик (прозаик он был отменный, именно прозаик: он писал не «прозу поэта», когда одно умение переносится в другую среду, но обладал ясным умением прозы). Проза его переводится довольно часто, впрочем, часто в переводах возникает некий размягченно-мечтательный воздух, имеющий мало общего с Чаком. Зато этот воздух как-то свойствен восприятию поэта вне Латвии — некий романтический флер, слабо-сладенькая приблизительность говоримого поэтом. Видно, сия атмосфера как-то автоматически возникает в воздушных головах при одной лишь мысли о «Прибалтике». Как-то это слово, видимо, умиротворяюще-по-отпускуному воздействует на них.

Почти сам по себе оформился миф о городе — о Риге Чака. А это вовсе не миф. Уже хотя бы потому, что многие естественные вещи и отношения — невоз-



АЛЕКСАНДР ЧАК

можные уже и пока — отслаиваются от города, округлились в почти сказку.

Но не только поэтому. Город был единственным местом жизни и работы Чака, даже когда он писал о, скажем, лете, проведенном в лесу, — все на контрасте: а в городе вот не так... Это такая их временная размолвка. Что до чаковской Риги, то когда я (не как литератор, рижанин как рижанин) читал его впервые, где-то на переходе от шестидесятых к семидесятым, тексты его были еще настолько в связи с городом вокруг, что почти и не воспринимались как поэзия. Не потому, — рассуждая теперь, — что Чак максимально точно уловил код города, что ли. Напротив: вымыслив, создав этот код, он — уже не узнать как, да и неважно — перedal его Риге, которая и стала быть, соответствуя этому коду. Это, впрочем, не была разовая, торжественно-мистически оформленная вспышка, но, прошу прощения, работа, серьезная и терпеливая. На протяжении десятилетия, от «Сердца на тротуаре» до «Зеркал фантазии» (1938) осуществляется регулярное, постепенное устроение города специальным мастерским: все персонажи его стихотворений не только заняты своей конкретной работой, жизнью внутри стихотворений, не только создают этой своей работой и само стихотворение, но создают к тому же, — зная, кажется, об этом, — и сам город: все равно что происходит в кадре: свидание, улицу заливают асфальтом, созерцание водосточной трубы или эти вот чаковские перфомэнсы: Чак, едущий на извозчике; Чак, поднимающий над головой мяч; Чак, вывешивающий свою радость на веревке сохнуть; Чак, задирающий выше колен глазами юбочку ей в трамвае; перфомэнсы «Где я живу», «Вечер на окраине»; так же ведут себя и его персонажи: «Ну ладно, пошли на твою верхокрутуру, где пахнет курами в коридоре», — а там, на верхокруте, и произойдет устроение вечернего города из различных вещей и действий. При этом по ритму, по колыбельности какого-то городского вещества, образуемого текстом, смысл становится почти вторичен, он полностью вложился в колебания преобразуемого вещества. Это, понятно, куда как не только перфомэнсы —

те, конечно, тоже осуществляют реальное преобразование окружающего, но стихотворения Чака менее приблизительно в своем действии.

Лет пять назад двое придурков разгромили памятник Чаку в наиболее, наверное, рижском парке, в Зиедоньдарсе. Памятник был из трех как бы бегонных гранитных, поставленных горизонтально один на другой блоков, в верхнем сделан — разорванный верхним срезом блока — овал, в который была вкомпонована, вставлена лысая, какая-то по-негритянски чугунная голова Чака. Придурки изъяли голову, выкатили ее на дорожку парка (что ли невменяемо воплотив — как сумели — метафору «сердце на тротуаре»), раскололи. Теперь там на средний из блоков поставлена другая голова, гранитная, чуть другого тона, не очень удачная, что, впрочем, неважно, поскольку наиболее точным был этот второй вариант: овальная пустота покинутого, оставленного места. Не то вариант вознесения, не то — вакансия и, самое точное, — пребывающая там невидимость. Присутствие поэта в городе еще пока ощущается, не случайны, разумеется, частые строки, посвященные тому или иному явлению Чака тому или иному стихотворцу: от возникновения его имени в ступе каблучков по бульвару до каких-то развеселых ночных кутежей (на извозчике, разумеется) в компании с поэтом. Последнее, впрочем, — реализация присутствия уже явно надуманного, мало интересного для рижанина, для которого элементами и его повседневной жизни были еще и тележки, и лошади, и окраины возле железной дороги, и Маринская, Гертрудинская, Тербатас и Столбовая, лагунные ручки, круглые зеленые-коричневые-голубые киоски, дворники, которые, впуская в дом ночных гуляк, звякают ключами, тем более — понтонный мост.

Впрочем, возможно, новых поколений таких рижан уже не будет, для остальных же поэзия Чака будет просто фактом поэтическим, жаль, что поделаешь. Хорошо хоть камни, кошки, собаки, черви, мокрицы, воробы и сороконожки — нежные и серьезные — все те же.

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

А
Л
Е
Ж
С
А
Н
Д
Р

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА

О, водосточная труба,
ты —
первый музыкальный инструмент моего детства.
Жестяная серая макаронина
в пять этажей длиной,
у тебя под болтливым ртом
вырастает в мороз
ледяная сверкающая борода —
даровое мороженое для мальчишек.

Ты — зимовье сороконожек и мух,
длинный туннель для дождя
по дороге к сточному желобу,
где мокнут окурки с огрызками яблок.

Почему ты вдоль дома,
слабая, хрупкая,
тянешься ввысь,
как моя тоска?

Почему ты такая
худая, тонкая,
как цветы у меня на столе,
как красавица с модной открытки?

Видно, это уж свойственно всем,
кто стремится ввысь
от уличной суматохи и шума,
от разжиревшего бытия.

ФОКСТЕРЬЕР ГОСПОДИНА НОТАРИУСА И ГРУЗЧИК

Суббота.

Фокстерьер господина нотариуса
сидел на окошке, как фикус,
и лаял
на старого грузчика,
гнувшегося у забора
под тяжестью выпитой водки,
как утром в порту под мешком угля.

Грузчик обиделся.

— Сукин ты сын, — говорит, —
что разлаялся тут, как буржуй?
Лучше ляг у дверей,
карауль,
чтоб не сперли хозяйские деньги!
Ишь,
лает небось, что я пьяный!
Что, мне и выпить нельзя?
А сынку твоего хозяина
можно
плясать с голоногими девками,
так что пол трясется,
как груди?
Веселиться желаю!
Эти гроби
для кого мне копить?
Для жены, которая кинулась в Зунд?
Для сына,
который убит
на каком-то поганом болоте?
Не-е-ет, пес!
Заткнись,
а не то как заеду булыжиной...

— Эй, кто там орет! —
подойдя, полицейский окрикнул.

— Это я-а-а,
господин полицейский,
вот шапка упала,
ее и ругаю, подлюгу, —
грузчик ответил,
последние силы собрал
и побрел восвояси.

ТРАУРНЫЙ МАРШ ШОПЕНА В ПИВНОЙ

В темной и грязной,
как пьяные рожи,
трусобной пивнухе
сидел я с друзьями
и пил.

Рядом поляки
хором тянули песню
о прежней неволе,
о черноокой полячке.

Жарко мне в щеку дыша,
бородатый русский
рассказывал что-то про сына —
теперь комиссара в России,
и про себя —
как он горя хлебнул
на службе у Врангеля.
Пьяный слесарь
жену колотил
за то, что просилась домой, к ребятишкам.

Вдруг из-за столика
встал чумазый рабочий,
швырнул музыкантам два лата:
— Траурный марш Шопена!

— Хамство! —
взорвался мой друг. —
Траурный марш в кабаке?
Шибер,
фокстрот запузрьте,
«Бублички» пусть запылают под страстным смычком,
как костер на ветру!

Руку свою
зачем я в Карпатах оставил —
чтоб тискать австрийских красоток?
Силу свою
по тирельским мерзлым болотам рассеял,
как зерна,
а там и корявой сосенки не выросло...

Дайте мне радость,
не траур,
радость,
жгучую, злую, как боль,
как слезы девчонки, лишенной невинности,
ра-

дость!
Траурный марш в кабаке?!
Да какой он рабочий —
скорее агент похоронной конторы,
который
с гробом
нагло явился сюда,
чтоб на кладбище нас отвезти, как покойников...

— Да, — рабочий сказал,
и скорбные звуки
взлетели
над пьяными головами.

Ч
А
К

ПИСЬМО ОДНОЙ УМЕРШЕЙ СТАРУШКЕ ГАЗЕТЧИЦЕ
Адрес: кладбище на Кукушьей горе в Риге

Мое письмо будет не очень длинным,
И я постараюсь писать покрупнее.
Вдруг ты там без очков?
Люди такие смешные,
На похоронах они плачут,
А сами не видят,
Что нужно покойнику.

Ты уж прости,
Я даже не знаю, где ты лежишь.
Я как раз уезжал,
А когда вернулся в Илгуциемс —
Сходил к тебе на квартиру,
А там уже поселились чужие люди.
Никто о тебе и слыхом не слыхивал.
Твоя внучка уехала в деревню.
Она родила —
Это уж Черный Янка постарался,
Помнишь этого негодяя?
(Тут бабуся, конечно, вздохнет.)

Он-то и в ус не дует,
Сидит, покуривает,
Лузгает семечки,
По вечерам тренькает на мандолине.
Ребенок очень слабенький,
Лучше бы ты взяла его к себе.

Я тебя не забыл
И всегда на углу, где ты сидела,
Пышная, низенькая, как кустик,
Вспоминаю твое лицо,
Усеянное морщинками,
Твой дребезжащий голос
И твои благодарности,
В которых «боже» и «господи» кишели, как муравьи.

Да, да, я уже знаю, о чем ты хочешь спросить.
В доме у вас все по-старому,
Только хозяин его покрасил,
Да старая Ильстерша
Переехала жить к невестке.

На углу, где ты раньше сидела,
Поставили маленький коричневый киоск.
Он похож на ребенка.
В нем сидит девушка
Со светлыми сияющими волосами.
Она умеет улыбаться
И, подавая газету,
Показывает свои длинные влажные пальцы
С солнечной нежной кожей.
Торговля идет на славу.
Только вот молодые люди
Больно долго торчат у киоска,
А когда отойдут,
Лица у них как-то странно светятся.

Мои друзья-поэты,
Узнав о твоей смерти,
Напились,
Побили в пивнушке посуду,
Молоди разную чушь,
А тебя называли газетной мамой.
Ты не сердись,
Что же им было делать?
Пойти в церковь?
Скорбеть?
Положить венок на углу, где ты торговала газетами?
Поэты — народ слабый.

Твой рецепт — втирать керосин от ревматизма —
Мне не помог.
Правая коленка все так же щелкает,
Будто в ней кто-то сидит и стрижет себе ногти.
Ну, об этом мы потолкуем после,
Когда я поднимусь к тебе.
Это будет, наверно, скоро.
Говорят, начинается новая мировая война,
Я пойду на фронт,
А оттуда к тебе.

Ну ничего,
Довольно я тут занимался дрязгами,
Целовал девушек,
Был трусоватым, никчемным.
Довольно,
Я вовсе не против
Подняться туда, к тебе.

Будем играть в дурака,
Сосать твои любимые карамельки.
А когда надоест,
Я спою тебе про Трансвааль
И побренчу на гитаре.

По вечерам
Буду ходить за водой
Для твоих старых мирт и флоксов.
Да, напиши,
Может, тебе там горшки раскокали при переезде?
Я заодно захвачу новые.

На этом кончаю.
Если ты все-таки не разберешь мой почерк,
Позови Яна Зиемельника.
Он поможет.
Это такой высокий, симпатичный парень
В черных очках
И отзывается на кличку «Поэт».

10

ЧТО ЭТИМ ХОТЕЛ ОН СКАЗАТЬ?

Был знойный, душливый полдень.

Безногий калека в отрепьях свалился как раз у подъезда, где жили богатые люди.

Была это просто усталость? Нет, смерть, неуместны сомнения: лицо, как экран, побелело, и в легких дыханье заглохло.

Он навзничь лежал на ступеньках. Из брюк вылезала рубаха, и дряблый живот заголился. Зиял его рот, как колодец, как смолкнувший кратер вулкана, всю жизнь извергавший проклятья.

Как брошенные веревки, повисли бессильные руки, и, словно приказчики, мухи сновали по грязным ладоням: не спрятали ли где-нибудь деньги, что люди ему подавали?

Вокруг, головами качая, зеваки привычно столпились. «В больницу», — один заикнулся. «Нет! — женщины разом вскричали. — Свезти его в морг, пусть разрежут! Ведь это ужасно заразно».

«Что треплетесь, — буркнул мужчина. — Нужда — это хуже заразы». Потом подошел и нагнулся к покойнику: «Я уже знаю. Он дрался когда-то с Бермонтом, а после жил долгие годы в ночлежке. Я тамошний дворник».

Толпу, как кустарник, раздвинув, отправился он за подмогой, чтоб в морг отвезти человека. За ним побежали мальчишки, тарачась, глядели с почтеньем, как шапку он носит, как ходит вразвалку большими шагами.

А труп? Он лежал себе. Только увечные, слабые ноги, отрезанные по колена, култышки, обшитые кожей, задравшись, нацелились прямо в толпу и в богатые окна грозящими жерлами пушек.

Что этим хотел он сказать?

авот



Фото ЮРИСА КРИВИНЬША

Посмертная маска Александра Чака.

АСФАЛЬТИРУЮТ УЛИЦУ

В котле, у которого два колеса по бокам, точно уши, и длинная сади олобля, как хвост обезьяний, в ржавом котле варился асфальт.

Черный, как сажа, как тушь, как вакса, блестящий, как лимузин, варился асфальт, колыхаясь в котле, как в пляске живот негрятки, пышущий жаром.

Варился асфальт, и кусачая вонь кромсала ножами ноздри, и саднило в горле, как от хинина.

Дым серый, дым черный, густой, как траурный флер, поднимался по липам, ладони подставившим солнцу и толпам пылинок, дыханье веревкой вязал, ненасытно, бесстыже обхватывал дам, обгрызал с них, как крыса, парижские ароматы.

Мужчина, громадный, как печь, коричневый, будто покрытый олифой, стоял с черпаком, похожим на голову буйвола, и по ведеркам чадящий асфальт разливал из котла — из котла, где варился асфальт, — асфальт.

Трое, ритмично и четко стуча деревянными башмаками, носили ведерки и на землю их выливали.

Восьмеро в ряд на коленях, спиной повернувшись к небу, ровняли асфальт аккуратно, как черное масло на хлебе, ровняли, слегка присыпая желтым песком, как персидским шафраном, ровняли, чтоб завтра отдать его женским чарующим ножкам, и поступи гения, и льстивым шажкам подлеца.

БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ

На улице Старого Города, узкой, как щелка почтового ящика, куда только отзвук движенья и шума доходит, где пахнет железом, и дегтем, и яблоками из подвалов, мне встретилась барышня, быстрая, гибкая, как язык, как снующий по струнам смычок.

Была она в лаковых лодочках с красной полоской, зеленый каблук. И шляпа — огромный пылающий уголь — бросала красную тень на лицо, овальное, как миндалина, были кровавыми губы.

Спешила она, как вода по наклонному стоку, как сельтерская из бутылки, и дергала за поводок собачонку размером с кулак кузнеца, на ножках, трясущихся, как желе.

Спешила она, шажки ее сыпались, как яблоки из опрокинутой в спешке корзины: гроза надвигалась, над красными крышами нависла, как дым, сквозь который порой прорывается пламя.

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ ЛАТЫШСКОМУ СТРЕЛКУ

Ну ладно, пошли на твою верхотуру, где пахнет курами в коридоре.

Будем сидеть всю ночь на полу на старой твоей шинели — пятна крови, как краска, на ней затвердели.

Я надену свой шелковый желтый платок. Таракан пробежит мимо наших ног. Глухо зажужжит в паутину попавшая муха. Будут сливы в саду набухать, как тесто в квашне.

Синим озером ночь разольется в окне. Помню, трещины там залепил ты замазкой. Чтob было темней, мы прикроем лампу твоей старой зеленой каской.

И ты мне расскажешь про то, как в детстве бумажный кораблик гонял по рыжей реке водостока, а большие синие мухи садились на сахар — и ты накрывал их ладошкой.

К нам в окошко будут голуби залетать и пух одуванчиков с ближнего луга.

Потом вылезем прямо на крышу. Лунный свет липнет к смоле, разогревшейся за день. А луна? Отдыхает на соседней трубе, заглядевшись на гаснущие угли.

Будем слушать с тобой, как в лесу звезды тянут своими лучами грибы из земли, и сквозь рыхлый песок червяками ползут белесые корни, и ручей уговаривает берега вместе к морю бежать.

В темноте под ногами уляжется Зунд синей ситцевой лентой, а дальше корпуса разоренных заводов, где до войны работали рослые парни — те, что погибли потом под Слокой, на Югле, под Казанью далекой, под Пермью и Перекопом, а их сыновья, что у ласковых девушек русских в степных деревнях народились, гонят к речке гусей, на гитаре играют и не знают, кто их отцы, по-латышски не знают ни слова.

ЧАК

В ТРАМВАЕ

Юбочку
выше колен
я задрал ей —
глазами.

Она же сидела напротив,
холодная,
точно трамвайные поручни
при двадцатипятиградусной стуже.

Ах, барышня,
если б вы знали,
что сердце в груди у меня
так же бешено скачет,
как пальчики ваши
по клавишам славной машинки «Рояль»,
перестукивая циркуляры министра!

Она же сидела напротив,
холодная,
точно трамвайные поручни
при двадцатипятиградусной стуже.

Что ей
до типа
в кепчонке и стоптанных башмаках?

Барышня едет на вечеринку —
потягивать, щурясь, ликер,
танцевать чарльстон
и в четыре утра
в темноте отдаваться
молодому пажону во фраке.

ПЛОХО

Плохо:
вот я — латышский поэт,
о чем мне петь?
Сердце в груди у меня
сухое и тонкое,
как истертая кожа на спинке стула.

Будь я негритянским поэтом —
пел бы про губы
темные, теплые,
как июльские ночи без ветра и звезд,
пел бы про девушек
сильных,
коричневых, как земля,
пел бы я про свободу
далекую, как бегущая по небу тучка, —
будь я негритянским поэтом.

А так — что?
Свобода у нас — никуда не годная,
девушки — тощие,
губки свои, как материю, красят,
радиобашни повсюду,
резиновые подметки —
мы ходим на них
тихо-тихо, как кошки,
думаем тихо,
чувствуем тихо
и умираем тихо.

АГОНИЯ

Напротив шикарного бара упала извозчицья лошадь.

На грязном снегу, меж оглобель, лежала совсем как в кровати,
с коричневой пеной на морде, как будто пила она пиво.

Ее беспощадно извозчик кнутом колотил и ногами, старался
поднять побыстрее, чтоб в клуб отвезти господина.

Тот был недоволен, грозился, что лишь половину уплатит.

А лошадь лежала, обмякнув, как женщина после объятий, и
только бока поднимались у ней лихорадочно быстро, как
жабры у рыбы на суше.

Извозчик за хвост ухватился, как за руку лошадь приподнял.

Отчаянно бабы ругались, и были мальчишки в восторге,
мужчины давали советы.

А лошадь уже околела, и маленькой лужей дыханье замерзло
в снегу на панели.

Тогда подошел полицейский и спешно послал за рогожей и
дровнями — падаль убрать.

Потом заорал: «Разойдитесь!» — и на угол гордо вернулся.

Напротив шикарного бара упала извозчицья лошадь.

ЧУДО

Земля моя,
Зеленая, круглая Земля!
Когда мне ласкать тебя хочется,
Я покупаю
Большой резиновый мяч
В лавочке, где кассирша
Отпускает улыбку за деньги.

А потом выхожу на улицы,
Поднимая резиновый мяч над головой,
Улыбчивый и счастливый.
Лошади
Глаза на меня таращат,
Собаки
Гонятся следом,
А мокрые тучи
Облокотились о шпиль церквей
И смотрят.

А я
Иду с резиновым мячом над головой,
Улыбчивый и счастливый.
Солнце сияет в глаза,
А я вижу только Землю;
Ветер дует в лицо,
А я слышу только Землю.
Куда бы ни взобрался —
Будь это горы, деревья, забор,
Киоск или пролетка извозчика —
Это не имеет значения:
Землю держу я в руках, и точка.

Люди презрительно усмеваются,
А дети громко кричат:
— Вон Чак
Несет в руках Землю!

А я иду
С резиновым мячом над головой.
Целую его,
И мне кажется:
Это самые нежные губы на свете.
Ласкаю его,
И мне кажется:
Женской груди я касаюсь.
Земля моя!

И вот я стою на углу,
Где когда-то была телефонная будка.
— Люди, — кричу я, —
Кошки, собаки, воробьи,
Все, живущие на камнях,
Подходите:
Земля у меня в руках,
Подходите,
Целуйте ее,
Дышите
Зеленой, круглой Землей.
Люди! . . .

Вижу,
Подходят гуськом
Кошки, собаки, черви, мокрицы,
Воробьи подлетают стаями,
Садятся на мяч,
А люди
Проходят мимо,
Люди презрительно усмеваются:
— Болван!
Нежности ему не хватает . . .

А я стою на углу
С резиновым мячом над головой.
Солнце сиять перестало —
Стою.
Дождик пошел,
Идет долго-долго —
Стою.
И когда он проходит,
Я все стою на углу
С блестящим мячом над головой.
Я все стою,
Чистый, сверкающий, влажный,
Словно вся горечь
С дождем утекла в водостоки.
Я все стою
Один,
Веруя в чудо.

ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

«НА ЭТОТ РАЗ...»

Стихи на карточках

1. На этот раз мы начнем так:

2. «Приезжает муж из командировки ...»

3. Известная ситуация. Середина лета. Раннее утро ...

4. Раннее утро. Женщина открывает глаза. Улыбается, произносит ...

5. Раннее утро. Веселый птичий гомон. Середина лета ...

6. Раннее утро. Окна распахнуты настежь. До слуха доносятся крики разносчиков, цокот копыт — звуки пробужденного города ...

7. Раннее утро. Солнце любит свое отражение в капельках росы. Незъяснимая радость переполняет душу. Хорошая все-таки штука — жизнь!

8. Раннее утро. Самолет набирает скорость. Взлетает ...

9. Раннее утро. Крайняя запущенность всех дел. Долги. Участвовавшие приступы сердцебиения. Положение, прямо скажем, не из лучших ...

10. Раннее утро. Эти все туда-сюда носятся, дети орут, телевизор тоже орет как резаный, форточку почему-то открыть нельзя ... Кошмар какой-то!

11. Раннее утро. Пожары. Наводнения. Землетрясения. Оползни. Другие стихийные бедствия.

12. Раннее утро. Тоска. Тревога. Ночной крик совы. Остальное — потом.

13. Раннее утро. Стихотворение Лермонтова «Сосна». «Музыкальный момент» Шуберта. Левитан. «У омута». В общем, что-нибудь в этом роде ...

14. Раннее утро. «Смотрю я в глубь лазури ясной», «О, если бы выразить в звуке», «Ты рождена воспламенить» и другие старинные романсы ...

15. Раннее утро. «Сокровище здешних мест», «Новейший гербарий», «В альбом к NN» и т. п.

16. Раннее утро. Небольшой монолог. Буквально полторы-две минуты ...

17. Раннее утро. Долгий разговор, суть которого сводится к тому, что круг вроде бы уже замкнулся, а где центр, пока еще неясно ...

18. Появляется Александр.

19. Александр:

20. Когда напропалую мы все бежим обратно в то время, как туда еще не добежали ...

21. Офелия:

22. Зачем он бежит за мной —
Ведь я ему не дам.
Зачем он бежит за мной

23. Александр:

24. О, боже, как нелепо пареньке стрекозы над яблоком, которому осталось жить всего какие-то минуты ...

25. Офелия:

26. Он мне не нравится совсем —
Мне нравится другой.
И лишь ему
-
27. Александр:
-
28. А все ж как он прекрасен! Как будто из другого
он сделан вещества, — подумал я, когда среди
толпы внезапно . . .
-
29. Офелия:
-
30. Не понимаю, как он мог
Не вспомнить обо мне.
Вот бережок, а вот песок
-
31. Александр:
-
32. Картина удалась, — подумал живописец, откла-
дывая кисти в то время, как над ним . . .
-
33. Офелия:
-
34. Ну как он может не понять,
Как я его люблю,
Как просыпаюсь и ловлю,
Поймаю — и опять
-
35. Александр:
-
36. Доклада не дослушав, вскочил как угорелый —
и в кухню . . .
-
37. Офелия:
-
38. Приди, мой миленький, скорей,
Прижмись ко мне щекой.
А то, как кошка у дверей
-
39. Александр:
-
40. «Унылая пора. Очей очарованье», — вдруг
вспомнилось. И правда: унылая пора . . .
-
41. — И многое другое. Например: «Стоим среди
нетопленного мира, не различая в сумерках
пути . . .»
-
42. — Ну, как же, как же: «Все те же мы. Нам
целый мир — квартира . . .»
-
43. — А дальше . . .
-
44. — «Так почему ж нам некуда пойти!»
-
45. — Правильно. А это: «Полет валькирий наяву.
Печать позора на короне . . .». Дальше . . .
-
46. — Пожалуйста: «Кто опоздал на randеву, тот
за оградой похоронен».
-
47. — Точно. А вот: «И все-таки они ворвались и
смерть с собою принесли . . .». Ну-ка!
-
48. — «Вначале мы сопротивлялись . . .» Дальше не
помню.
-
49. — Ладно. А это: «Давай отложим все дела, за-
кусим удила. Пойдем на новые дела . . .»
-
50. — «В чем мама родила!»
-
51. — Точно. А вот это: «Кто денно и ночью волею
помыкает . . .»
-
52. — «И незримой тоскою мечту убивает . . .»
-
53. — «Сему насчастну глаголю: вынь с ядом жа-
ло . . .»
-
54. — «Из полнощна сердца, где и днесь свету
мало . . .»
-
55. — Хорошо. А вот это . . . Впрочем, нет, это уже
было.
-
56. — А это уже из «Азбуки» Льва Толстого:
-
57. — «Слепой шел домой. Была ночь. Слепой нес
перед собой свет. Какой глупый слепой, несет
свет перед собой, — а сам слепой, для чего ему
свет! А нужно свет ему для того, чтобы зрячий
не сбил его с ног долой».
-
58. — И многое, многое другое . . . А закончим мы
на этот раз так:
-
59. — «Родители ушли в гости . . .»
-
60. — Да, да, именно так: «Родители ушли в гости.
Мальчик остался один».
-

АЛЕКСАНДР ЩЁГОЛЕВ

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО

СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ

AVOTS

Лето я провел хорошо.

Мы с мамой поехали в деревню. На самом деле это маленький городок, но мама называет его деревней, потому что она в нем родилась. Мы каждое лето сюда приезжаем, и мне здесь нравится.

Напротив нашего дома живет Петька. Только этим летом Петька сильно изменился — по вечерам он лазил с другими ребятами в совхозный сад и таскал оттуда землянику. Мы все очень любим землянику, это ужасно вкусная вещь, но мама всегда говорила: «Чужое брать нельзя!». А когда я сказал об этом Петьке, он засмеялся.

Еще у нас появился новый сосед — дядя Игорь. Он недавно купил дом рядом с нами, прошлым летом дядя Игоря тут не было. Сосед мне не понравился, потому что он каждый день продавал на базаре землянику. Мама сказала, что если купить у него, то нищим станешь — такие цены. Непонятно, откуда он брал ее, эту землянику, во всяком случае, огородом он никогда не занимался. Мы как-то были у дяди Игоря в гостях, он нас пригласил познакомиться. В доме у него оказалось совсем пусто и грязно, и я удивился. Куда он деваает деньги, которые получает на базаре? Неизвестно. Хотя я сразу понял, что дядя Игорь умный. Он очень здорово умеет говорить.

Петька часто предлагал мне лазить вместе с ребятами в совхозный сад, но я отказывался. Еще он звал меня по вечерам в дом к дяде Игорю, рассказывал, что у него страшно интересно, поэтому все ребята и ходят к нему каждый вечер. Но я не хотел. Петька меня спрашивал — почему? А я не объяснял, потому что не люблю говорить о людях гадости, но однажды не сдержался и сказал Петьке, что его дядя Игорь жмот, что он загоняет на базаре землянику, а деньги прячет неизвестно куда. Петька засмеялся и ответил, что я не прав. На самом деле дядя

Игорь без денег просто не может жить — натурально. Оказывается, он варит из них бульон и ест его за обедом, а без этого бульона он бы умер. Петька похвастался, что дядя Игорь давал ему попробовать. Очень вкусно! «И я когда вырасту, — сказал Петька, — то буду варить себе такой же бульон, но пока денег нет, еле-еле на мороженое хватает».

Звал меня Петька в гости к дяде Игорю, звал, и я решил узнать, что же у него там такого интересного. Только идти к нему я все равно не хотел. Когда стемнело, я забрался к соседу во двор и попытался заглянуть в окна, но все они были занавешены. А в одном окне оказалась щелочка, и я стал подсматривать.

Мама мне часто говорила, что подсматривать тоже не хорошо, но я не мог сдержаться, честное слово. Мне было очень любопытно. В щелочку я увидел, как в доме собираются ребята, один за другим, знакомые и незнакомые. Среди них был и Петька. Дядя Игорь встречал каждого в отдельности, обхаживал, а потом делал очень странную вещь. Он быстро вытаскивал из кармана ключ, похожий на тот, которым заводят механические игрушки, только гораздо больше, вставлял его пришедшему мальчику куда-то между лопаток и поворачивал. Каждый из мальчиков вздрагивал и сразу же замирал, а глаза его становились какими-то стеклянными. Я испугался и убежал. Я никогда не видел ребят со стеклянными глазами.

Следующим вечером я снова стал подсматривать, но теперь это заметили. Мальчики постарше привели меня к дяде Игорю и крепко держали, пока он всовывал ключ мне в спину. Глаза у тех мальчиков, которые меня поймали, были совсем-совсем стеклянными. И вообще — у всех собравшихся здесь ребят.

Сначала мне было страшно. Так страшно, что я даже

плакал. А потом стало хорошо, весело! Все вдруг показалось каким-то игрушечным, ненастоящим, а сам я, наоборот, сделался большим и сильным. Это было очень приятно. Дядя Игорь рассказывал всякие смешные штучки. Про то, например, что люди обходятся в эксплуатации намного дешевле роботов, так как потребляют гораздо меньше энергии, только сначала нужно их... Я плохо помню его рассуждения, хотя они и были ужасно забавными. Иногда он говорил слишком непонятно. Мы сидели, слушали, хохотали. А потом пошли в сад воровать землянику. Я — вместе со всеми. Мы наелись до отвала, набрали полные пакеты и всю добычу принесли дяде Игорю. Так он нас попросил. Разве могли мы его огорчить? Наверное, эту землянику он на следующий день и продавал на базаре.

Мне очень понравился тот вечер. Самое главное, что я ничего не боялся! Не нужно было ни о чем думать. Дядя Игорь так и сказал: «Думать, ребятки, вредно для здоровья. Веселитесь, потому что вы абсолютно свободны. Свобода — это веселье, запомнили?». Было здорово ощущать себя свободным — таким веселым и таким сильным. И еще! Когда мы шли с ребятами по улице, то были все вместе, рядом друг с другом, а когда полезли в сад, то вообще стали как одно целое. И это тоже очень здорово.

А мама была недовольна и даже немного испугана. Она меня дома совсем затормозила. Спрашивала: что со мной, почему у меня такие странные глаза, где я выпачкал рот земляникой?.. Но я не признался. А следующим вечером снова пошел к соседу. Мы веселились, ели чужую землянику, мальчики постарше показывали нам разные приемчики, которые им еще раньше показал дядя Игорь. Я, кстати, завидовал мальчикам постарше, потому что, как только мы уходили от дяди Игоря, они тут же начинали командовать. Но вообще-то было интересно бродить большой толпой по темным улицам. Мы чувствовали себя самыми главными, совсем взрослыми.

А мама почему-то сильно плакала утром. Она кричала: «Чтобы я никогда больше тебя не видела со стеклянными глазами, слышишь, никогда!». Я ей нагрубил и убежал.

Чего она разволновалась? Непонятно. Мамины слезы меня жутко расстроили: я очень редко видел, чтобы мама плакала. Одновременно я слегка на нее злился. Странно. Что-то было не так, я чувствовал, но что? Конечно, когда дядя Игорь вставляет ключ в спину, это приятно. Но почему глаза становятся стеклянными? Почему вечером мне нравится воровать землянику, а утром я понимаю, что поступал плохо?

Почему я нагрубил маме?!

Вопросы меня замучали. И я вдруг понял: лучше всего было бы плюнуть на дядю Игоря. Не ходить к нему по вечерам, забыть про ключик, про землянику и про глупое веселье. Но я уже точно знал — сделать это будет трудно. Не смогу я к нему не пойти, и все тут. Что же делать?.. Я попробовал нащупать дырочку у себя в спине. Руками никак было не дотянуться.

Тогда я пробрался в дом к дяде Игорю, пока тот был на базаре, и начал искать там этот зловерный ключ. Больше я ничего не придумал. Но сосед неожиданно вернулся и застучал меня. Наверное, кто-то из ребят заметил и ему доложил. Я думал, он рассердится, устроит скандал, а получилось все наоборот. Когда дядя Игорь узнал, зачем я залез к нему, он страшно обрадовался! И сам достал ключ. Он дал мне его подержать и объяснил, что дело совсем не в ключе и даже не в том, чтобы найти дырочку в чьей-либо спине. А в том, хватит ли сил и умения повернуть вставленный ключ. Дело только в этом, — объяснил дядя Игорь. Если сил и умения хватает, значит, человек всегда может получить от других людей то, что ему нужно, и затем варить себе разные необходимые для жизни бульоны. Точно так дядя Игорь и делает. Я же пока еще слишком мал, ни за что не смогу повернуть эту дурацкую железку, даже если ухитрюсь кому-нибудь ее вставить в спину. «Смешно надеяться!» — сказал дядя Игорь. Почему-то он был уверен, что ключ мне понадобился для того же самого, для чего и ему. Он меня похвалил: «Шустрый мальчик!

Ничего, подрастешь, тогда и попробуешь». Я не стал его разубеждать. Во-первых, побаивался — вдруг он все-таки рассердится? Во-вторых, я немножко обиделся. На самом деле я хотел украсть ключ только для того, чтобы никто не мог подловить им меня сзади.

От дяди Игоря я сразу побежал к Петьке и все ему рассказал. Он жутко удивился, но не поверил. Он сказал, что ничего такого у дяди Игоря не видел и что я, наверное, вру. Он сказал, что никто мне ключа в спину не вставлял, а уж ему, Петьке, и подавно! Просто у дяди Игоря очень интересно, а сам он хороший мужик. И землянику таскать тоже интересно, вот ребята этим и занимаются. Мне неохота было с ним спорить. Я попросил его показать спину, он показал, и я долго искал в ней дырочку. Ее оказалось трудно найти, такая она была неприметная. Но я все-таки нашел — точно посередине между лопаток, там, куда человек не может достать руками. Если специально эту дырочку не искать, ни за что не заметишь! Потом я попросил Петьку посмотреть мою спину, и он тоже нашел в ней дырочку. Он еще больше удивился, сказав, что все равно не верит в эти глупости, и ушел играть с ребятами в роботов. А я решил не идти сегодня вечером к дяде Игорю. Не идти, и все тут!

Но я пошел. Не знаю, почему. Ничего не мог с собой сделать. Я шел к дяде Игорю и старался не плакать, хотя мне хотелось. А потом опять стало весело и хорошо, дядя Игорь смешил нас историями про всяких дурачков, которыми умные люди играют, как хотят, мы лазили в сад за земляникой, а ночью мне снились сны, где я дрался и всегда побеждал. Только утром мама снова плакала, гораздо сильнее, чем вчера. Она не кричала и вообще ничего не говорила, но я знал, что ее огорчили мои стеклянные глаза. Если бы она ругалась, было бы легче. Она плакала так страшно, что я не знаю даже, как это описать. Я чуть не умер от стыда. Она ведь из-за меня мучалась! Вот тогда я и решился. Я понял, что если уж родился мужчиной, то и поступать обязан по-мужски.

Поняв это, я пришел к Петьке и прямо спросил — друг ли он мне. Он ответил, что друг, конечно. Я раскалил в плите чугунную гирьку, объяснив, что мне нужна помощь в одном очень важном деле. Он должен взять эту гирьку щипцами и приложить ее к моей спине в том месте, где вчера нашел дырочку. Петька сначала испугался, стал отказываться, но когда я отдал ему свой ремень с бляхой и перочинный ножик, согласился. Я лег на живот, а он сделал все, как я просил.

Мне было ужасно больно, и я плохо помню, что было дальше. Кажется, я куда-то бежал, меня ловили, я вырывался... Что творилось с мамой, совсем не запомнил. В тот же день она увезла меня обратно в город, там я долго болел. Но зато дырочка пропала! Санька, мой сосед по лестнице, проверил — рана от гирьки зажила, после нее остались только шрамы. Я, кстати, посмотрел Санькину спину. У него была точно такая же дырочка, но я ему ничего не сказал, потому что он все равно бы не поверил.

Я много думал. И когда болел, и потом, когда поправился. Неужели все люди имеют предательские дырочки в спинах? Может быть, они есть только у детей, а у взрослых сами собой пропадают? Хотя нет, само собой ничего не бывает. Наверное, каждый нормальный взрослый когда-нибудь решался и запаивал дырочку раскаленной гирькой. А потом долго болел — как я... Другой важный вопрос — почему ребята не замечали, как им вставляли ключ в спину и заводили их? Почему один я увидел? Может быть, некоторые и замечали, но им было наплевать? Ладно, об этом надо еще подумать. А хуже всего вот что. Есть люди, которые знают о дырочках и у которых хватает ума сделать ключ, чтобы ловить на него дурачков вроде меня! Это хуже всего. Или нет? Или хуже всего то, что остальные люди ничего не знают и ничего не видят?.. Ладно. Следующим летом я обязательно поеду с мамой в деревню, там и разберусь. Пусть дядя Игорь подождет немного.

В общем, прошедшее лето было коротким, но очень увлекательным, и я его никогда не забуду.

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

ЛЕОНС БРИЕДИС

КОРАБЛЬ

Выплыл на берег. Пустил
корни в песке разогретом.
А кораблем ли был!
Никто не помнит об этом.

Но листья осенней порой
печально и горько взлетают
и, прежде чем слиться с землей,
к морской синеве припадают.

Перевод А. НАЛБАНДЯНА

Странное чувство — ты будто бы помнишь больше, чем можешь помнить, больше, чем учили и говорили. (Вдруг целые поколения начинают признаваться в осознанном или неосознанном сокрытии прошлого от тебя — и от всех детей своих.) Странная память — не считается с письменами и наукой, строптивая, сама по себе. Странная память маленького народа . . . Корни в песке и глубже, в тайне.

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ



Рисунок САРМИТЫ МАЛИНИ

ТЮРЬМА — ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ

ДВА ИНТЕРВЬЮ ВИЛНИСА БИРИНЬША

Тюрьма. Исправительно-трудовая колония. Отбывание наказания. Каковы наши представления об этом? Разные, но смело могу утверждать — обычно весьма далекие от действительности.

Думали ли вы о последствиях того, что трудовая колония является также и производственным учреждением, которое включено по твердому плану в общую систему Народного Хозяйства? Так как в колонии труд принудительный, то система «тюрьма — завод» автоматически обуславливает между осужденными прочные неравные отношения. Зная практику выполнения наших производственных планов, легко представить, какими способами на производственных участках колонии выполняется план и что происходит, если не хватает рабочей силы. Дополните набросок огромными бараками, в которых живут и отдыхают после работы одновременно почти сто осужденных, и, может быть, немного приблизитесь к истине.

В опубликованных ниже интервью сознательно не рассматриваются перестроечные идеи исправительно-трудовых учреждений, потому что любая идея гроша ломаного не стоит, если общество не чувствует необходимости ее реализовать.

А теперь интервью. Первое — с многократно судимым Рихардом, который провел в исправительно-трудовом учреждении более восьми лет. По понятным причинам его фамилию не называю. Второе — с бывшим прокурором по надзору за соблюдением законности в исправительно-трудовых учреждениях г. Риги Эгоном Русановым.

1.

Рихард: Обстановочка там прямо как в концлагере. Единственная разница, что не убивают, хотя тоже иногда достается. Это свой маленький мирок. Те, кто не бывал, не смогут даже себе представить, что в наше время еще возможно то, что там происходит.

* * *

Рихард: Вошел в камеру и сразу свалился на пол. Ударил табуреткой по голове. Вечером поговорили: за что, откуда, почему — обо всем. Следующий день прожил нормально, вечером опять началось. Чтобы не видно было за дверью, позвали в угол — двое заводил и еще трое рядом. Сначала какие-то тупые загадки, типа: что ты будешь делать, есть мыло или говно грызть? Если не отвечаешь, прописка: одна кружка — пол-литра холодной воды. Набирают кружек пятьдесят. Кто тебе пятьдесят выпьет? Я выпил шесть литров. После кружек с водой начинают прессовать. Не все, человек пять-шесть колотят — бьют по животу. Бьют, кто во что горазд, каждый по пять ударов. Представь, что ты выпил 6 литров воды. В то время я был довольно крепким, увлекался спортом. Только на фишках вырубился, потому что это такой удар — опускаешь голову и расслабляешься, и тогда бьют по шее.

В. Б.: Сопротивляться можно?

Р.: При прописке сопротивляться нельзя, если начнешь, тебя просто избьют. Будет еще хреновее.

После этого бьют по мотору.

В. Б.: По сердцу?

Р.: Да. На этом прописка кончается. Позже вместе со всеми делал такую же прописку новеньким.

В. Б.: Видит ли это охрана?

Р.: Ну, посмотрит иногда... Ну, увидят... Среди охранников больше женщин. Девчонки, вокзальные шлюхи. Их подбирают и предлагают такую работку. Разумеется, им все до лампочки. Ну, приходит туда большой начальник, какой-нибудь корпунтик и говорит: «Ой, блядь, почему не смотришь?» Никакого смысла. Если кого-нибудь зарежут или кто-то повесится, им лишь снимут премию.

В. Б.: И это все происходит в камере предварительного следствия, до вынесения приговора?

Р.: Между прочим, до суда иногда еще паршивее, чем после. После суда ты знаешь, кто ты. Но до суда — ты никто. Тебе не позволено ничего. Письма писать запрещено, с родными встречаться запрещено. Денег нет. Когда меня арестовали второй раз, было лето. Уж так жарко. Сунули меня в камеру, где на кухню тянется по трубам горячая вода. Жара ужасная. Дышать нечем. Хорошо, что с собой кое-что было. Купил место у самого окна. Но сколько там воздуха идет. Это невозможно представить, что воздух ловят открытыми ртами. Ничего приятного.

Вспоминаю, как впервые попал на зону. Два мента подвели меня к забору и показывают на пятна крови: «Видишь, вчера тут двое выбирались наружу, посмотри, что от них осталось». Это мое первое знакомство с зоной.

* * *

Р.: Я работал в пластмассовом цехе. В большом сарае из жести. Жара, вентиляции никакой. У нас была черная пластмасса. Ее из порошка делают, и в цехе ужасно пыльно. Очень вредно. Те, кто долго проработал, угробили свои легкие. А врачи там только с зеленой. Это лекарство от всех болячек. У многих появляется что-то похожее на нарывы, от которых остаются незаживающие рубцы (у одних на ногах, у других на руках, а у некоторых даже на лице). Примерно у каждого пятого.

В. Б.: Ты к врачу обращался?

Р.: Нет смысла. Единственное, что врач сказал: «Мы тебя можем только подлечить». Таблетки там дают таким образом: приходят двое больных, один жалуется на боли в голове, другой — на сердце. Врач делит одну таблетку пополам — и каждый получает свою долю. Туда ходи не ходи. Жалуешься, что сердце болит, — помажут зеленой. И попробуй что-то сказать! Меня еще из-за ног не хотели отпускать на поселение (вольное поселение), чтобы не узнали об этом заболевании. С каждого этапа по пять-шесть человек приходят больные. На поселении меня сразу засунули в больницу!

В. Б.: Я слышал, что на зоне есть люди, которым разрешено не работать.

Р.: Менты неофициально поддерживают верхушку — воров. Потому что менты поделаться уже ничего не могут, они повязаны, порядок им не навести. Тем, из верхушки, разрешено лучше жить, и они в свою очередь оказывают давление.

В. Б.: Какими преимуществами они обладают?

Р.: Никто не работает. Едят диету. Диета полагается больным, а эти диету выкупают. Если мент или хозяин увидит, ничего не скажет. Верхушка имеет все, так как у них есть деньги, а в зоне все можно купить.

В. Б.: Что, например?

Р.: Все. Чай, алкоголь, разный паек. Можно купить свиданку. Что нужно для жизни? Бабы! Пожалуйста. 150 рублей. Были у ментов бабы, и менты их водили. Водку там мало пьют. Я и водку пил, и коньяк, но это так, не часто случается, кайфа никакого. Вот одеколон... Все глотают колеса. Эфедрин часто был. Сейчас трудно достать. Пакетик стоит 18 копеек, а в зоне 4 рубля. Представляешь сумму! Большинство ментов на этом живет. Сами они не продают, а через другого человека. Менты по-разному подрабатывают. Воры заставляют остальных писать письма на волю, просить денег у стариков или у родственников и через ментов посылают. А потом деньги делят между собой.

Продавец на зоне тоже живет припеваючи. Менты там все берут даром. Продавец собирает уцененные товары и продает

Франциск Сурбаран. Молитва



Фоторепродукция ВАЛТСА КЛЕЙНСА

по прежней цене. Попробуй только что-нибудь сказать. Сразу в трюм (штрафной изолятор) угодишь. После Чернобыльской катастрофы в нашем магазине можно было достать разные конфеты. И все с Украины. До этого такого никогда не бывало.

* * *

Р.: Главное в том, что ты полностью во власти мента. Что он захочет, то с тобой и сделает, так как наказать может абсолютно за все. Пуговка не застегнута или куришь в недозволённом месте — и это ничего, что все так делают. Подходит к тебе и отправляет в трюм на пятнадцать суток на хлеб и воду, без матраса. Сколько раз я так в трюме сидел. Подходит мент. Почему не застегнута верхняя пуговица? Если ты ему станешь кланяться, тебе, возможно, ничего не будет. Но если что-то резкое ответишь, сиди в трюме. По-разному бывает, подходит мент: «Ты видел, что Иванов вчера делал? Не видел? Жаль... На пятнадцать суток в карцер». И думай — за что? Может, кому-то

должен был или бугру (бригадиру) что-то не понравилось? Из-за одной пуговицы ты можешь все потерять, хоть она и застегнута была. Однажды в день посылок вызывает начальник и говорит: «На тебя докладная составлена, ты лишен права на получение посылок. Никаких разговоров! Подпишись». У меня нервы не выдержали. Хлопнул дверью и вышел. Через час уже сидел в погребе на хлебе и воде — пятнадцать суток за оскорбление. Бывало, мент сам предложит прикурить и потом засунет тебя в трюм. Самый большой срок, который я провел в трюме, — это девяносто суток. Сразу дали шестьдесят и потом два раза добавляли.

В. Б.: За что?

Р.: А получить можно за все. Нервишки не выдержали, назвал какого-нибудь мента педерастом и сиди опять. Когда выбрался наконец, на мне оставались кожа да кости, специально пошел взвесился, 46 килограммов весил.

Ну вот, система такая — с одной стороны менты тебя обрабатывают, с другой — бугор и воры. Бугор то же самое, что мент, только он зак. Его задача — гнать план. Любимыми средствами. Он

так же, как мент, командует и так же может отправить в трюм. Ментам нельзя тебя по морде при всех бить, а бугру можно, ему ничего не будет. Бригадир записывает, кто сколько выполнил. Тем, кто из верхушки, записывает 3 сотни, тем, кто долго сидит и шибко вкалывает, — две, остальным ничего не записывает. Ты можешь пахать и пахать и ни копейки не получишь.

В тюрьме существует система столов. За первым сидят те, кто верховодит, за вторым те — кто исполняет. Те, кто сидят за первым, сами никогда не бьют. Они только показывают, кого бить, и бьют те, кто сидят за вторыми столами. За третьими сидят середняки — они ладят и с теми, и с другими. Четвертый стол уже моет полы. Педерасты вообще не сидят за столом. В камере есть параша — там они и сидят. Все зависит от того, где ты сидишь. Если я, к примеру, со второго стола, а кто-то с четвертого моет пол и при этом поставил мои ботинки хоть на сантиметр дальше — я могу ударить его по голове. Все время надо быть начеку, так как в любую секунду можешь получить по шее. Понемногу привыкаешь. Изматывает все страшно. Ничего не интересует, ни на что не реагируешь. Тебя могут резать, и от безразличия ты даже не шелохнешься. Появляется какой-то садизм.

* * *

Р.: Ну, попадает какой-нибудь смазливый мальчишка, его стараются обкрутить. Никто его по голове и по морде бить не станет, но поговорят, чтобы подписать. Если не подписывается — сыграть во что-нибудь предлагают. Домино в камерах имеется официально. С помощью домино можно сыграть в любую игру, начиная с козла и кончая покером. Ловкие игроки поступают как наперсточники. В принципе, на что играют — например, на отжимание — пять отжиманий за очко. Проигрывает он двадцать отжимок и уже радуется — сейчас отжиматься начнет. . . к стенке его вверх ногами. Если не отожмется, изнасилуют в жопу или в рот. А если проиграет тот, кто за первым столом сидит, тогда ничего, он хоть от стенки отожмется, и все станут доказывать, что таков был уговор. Примерно такая система.

В. Б.: В зоне много гомосексуалистов?

Р.: В принципе все. Потому что женщины нужны, а их нет. Вместо женщин — петухи. В строгаче (колонии строгого режима) редко делают петухом, обычно подписывают в общаке (ИТУ общего режима). Приходит симпатичный мальчишка с малолетки, точно как девушка. Из старых кто-нибудь в друзья набьется, обогреет, никого к нему не подпускает. А потом дело доходит до того, что говорит ему: «Ты мне должен. Или плати долг, или пожалуйста. . .» Некоторые это делают охотно. Один пришел со свободы таким прилично одетым, с высшим образованием и так: «Пожалуйста, давай». Показывает разные позы: можно так и этак. Всем интересно. Его никто по-другому и не трогал.

В. Б.: Где это происходит?

Р.: Там же. Отгораживаются одеялом. Вроде бы никто не видит, но знают же все. В зоне у всех есть какие-то закутки, какие-то мастерские.

В. Б.: Ты в зоне тоже спал с петухами?

Р.: Да. Только в строгаче, в общаке, возможно, не испытывал необходимости, но, когда сидишь долгие годы, тогда что-то требуется, если вокруг все это делают. . . В принципе все время думаешь о женщинах, но так как возможностей никаких. . . Можно, конечно, купить, но просто не стоит. На эти 150 рублей ты целый месяц можешь хорошо пожить. Особенных эти не приведут, попадетса даже хуже, чем какой-нибудь парнишка.

С мужчинами так же как и с женщинами: старую шлюху не хочешь, возьмешь того, кто только что приехал, кого ни разу не пробовали.

В. Б.: Сколько стоит петух?

Р.: Четыре пачки сигарет.

В. Б.: Когда ты вышел, ты продолжал этим заниматься?

Р.: Никакой необходимости не испытывал. Я эту границу еще не переступил, но думаю, есть и такие, которые привыкают.

* * *

Р.: Душевая в зоне как бы место для пыток. Например, на случай, если напьешься и тебя поймают. Был один помощник дежурного начальника колонии. Не в каждой смене. Меня тоже колотил. Надевают наручники и бьют ногами. Валяешься голый на холодном мокром полу. Главное, только ты пошевелишься, наручники теснее сжимают, так, что режут кожу. Они тебя избивают, а ты пытаешься лежать спокойно.

В. Б.: Ты был пьян?

Р.: Был немного выпивши. Так, чувствовался запах. Изобьют, а

после заставляют выпить ведро с марганцовкой. Опустят на колени к ведру и, как только пить перестанешь, бьют. Рвет постоянно, пока ведро не выпьешь.

В. Б.: Возможностей жаловаться нет?

Р.: Они просто сделают вид, что ничего не было. Никто не станет доискиваться.

Однажды менты сами избili своего — тогда искали, но ничего не обнаружили. Самое ужасное заключается в том, что никто тебе не поможет, ты не в состоянии обратиться за помощью, если тебя бьют по голове. Рассчитывай на свои силы, насколько сам сумеешь защититься.

* * *

Р.: Сидим в буре (помещение камерного типа). Нам дают знать — отказывайтесь от еды. Мы все отказались. Потом по телеграфу передают — начинайте резаться! Из каждой камеры порезались. Везде кровичка. И никто не в состоянии прекратить это. Тогда одному из верхушки пообещали, что его выпустят — если прекратится голодовка. Он всем пообещал двойные посылки, и голодовка закончилась. А менты сами ничего не смогли добиться.

* * *

В. Б.: Ты часто испытывал унижения?

Р.: Часто ли? Там сама система уже унижительна. Возьмем хотя бы режим дня: в пять пятнадцать подъем. Безразлично, зима или весна, метель или дождь. Выбегаем в трусах на улицу. Транслируется музыка. Это считается физзарядкой. Примерно минут 20. Потом — туалет, все бегут к крамам умываться. Если не успел — оставайся неумытым или сиди без завтрака.

Возьмем обед. Входит в столовую бригада, два человека отправляются к амбразуре, где выдают чугунные котлы с пищей. Остальные ищут миски. Их всегда не хватает. Если я хочу, чтобы у меня всегда была миска, надо заплатить кому-нибудь на кухню. Если остался без миски, ищи того, кто поел. Бери у него грязную миску, быстренько мой, чтобы успеть к столу, пока еще что-то осталось. Когда меня арестовали во второй раз, то отправили на строгач (ИТУ строгого режима). В камере было 44 места, а на вечерней проверке сосчитали 88 человек. Им безразлично, где ты спишь, на полу или в углу.

* * *

В. Б.: Почему у тебя рука неподвижная?

Р.: Ну видишь.

В. Б.: Вены резал?

Р.: Нет, вышиб окно. Но резался тоже.

В. Б.: Один раз?

Р.: Да, один. Взял бритву и так спокойно. . .

В. Б.: Когда это случилось?

Р.: Когда меня повязали (арестовали) в последний раз. Взял бритву и не слишком глубоко. На одной руке, на второй. В том-то и дело, что не порезался по-настоящему. Кровь течет, но не сильно. Затем слегка подкачиваю вену и прорываю до конца. Теперь уже течет как из крана.

* * *

Р.: (Рихард окончил среднюю школу в колонии.) В школу идут так же, как в церковь. С учителями можно поговорить. Они искренне хотят понять, что у тебя на душе. С ментами нет смысла разговаривать, у них единственная цель — что-нибудь из тебя вытащить. С другими так же, если не считаются хорошими друзьями. В первой зоне у меня были такие. Во второй уже нет. Я понял — в зоне хороших друзей не существует. Учителя есть учителя. Сколько у ментов было с ними конфликтов.

В. Б.: Из-за чего?

Р.: Хотя бы по национальным вопросам или по другим причинам. Мне на выпускной директор заказал панно — резьба по дереву, — написал специальную бумагу, что это для школы. Я иду в школу с бумагой, меня хватают, работу отбирают и суют в трюм. И директор ничего не может поделать. Представь, что менты хватают меня у дверей школы, не глядя на бумагу. Однако школа есть школа, это нечто особенное. Потому все идут в школу, как в церковь.

* * *

В. Б.: Ты много пьешь?

Р.: Довольно. Я уже однажды решил бросить. Но вот недавно напился, порвал одежду своей девчонке. Хорошо еще, что моя девчонка понимает.

В. Б.: Как у тебя с нервами?

Р.: Довольно хреново. Лечусь как будто. Врач говорит: «Тебе нельзя пить». Сам знаю. Но знаешь как... когда находит, таких дел могу натворить, в основном когда выпью.

* * *

Р.: Как-то совпало — Новый год встречал в трюме. Курить там запрещено, но я пронес несколько сигарет. Все выкурил, а одну хранил специально до Нового года.

В. Б.: Как ты пронес?

Р.: В задницу засунул. Естественно. Обернул в целлофан и засунул. И так, храню эту сигарету, за несколько дней начинаю откладывать хлеб. Каждый день понемногу оставляю. Бумагу тоже. Там каждый день для подрицки задницы выдают маленький кусочек. Ну вот. Приходит Новый год. Я распускаю носок, натягиваю нитку через камеру. Из бумаги выщипываю звездочки, из хлеба — разное вылепил, развешиваю все на веревке. Ровно в двенадцать сажусь посередине камеры, закуриваю сигарету, снимаю галошу и поджигаю. Делай со мной, что хочешь, у меня Новый год. Охранница открывает дверь, я сижу посередине

2

Вилнис Бириньш: Часто ли поступают жалобы от осужденных?

Эгон Русанов: Да, очень. Мы были буквально завалены жалобами. И самое неприятное то, что эти жалобы невозможно рассмотреть объективно. В основном жалуются на необоснованное наказание. Но в исправительно-трудовых учреждениях порядок отбывания наказания таков, что представитель администрации может злоупотребить своим положением. Например, во время разговора представитель администрации может оскорбить осужденного, если осужденный отвечает тем же, может наказать — к тому же наказание может быть достаточно строгим, например водворение в штрафной изолятор. Можно наказать за то, что у осужденного не застегнут воротничок. За это можно на месяц лишиться права посещения магазина, сделать выговор. Наказания могут перевернуть судьбу заключенного. Оштрафовать или не оштрафовать — это выражение свободной воли военного. Проверить все почти невозможно. Разумеется, мы делали что могли. Об этом свидетельствует то, что многие жалобы удовлетворены.

Закон гласит, что жалобы, написанные прокурору, должны в нераспечатанном виде быть высланы из колонии в течение суток. Но я думаю, что есть много случаев вскрытия и проверки писем, что большая часть информации из колонии не выходит. Возможно, даже кое-кому выгодно перегружать прокуратуру мелочами, чтобы скрыть дела посерьезнее. Разумеется, это мое предположение.

В. Б.: В колонии много попыток к бегству?

Э. Р.: Нет, не много. Между тем бывают случаи, когда человек инсценирует побег, чтобы состоялся новый суд и он смог бы выбраться из этой колонии. Это не парадокс, это возможность на некоторое время освободиться от преследователей.

В. Б.: Есть случаи самоубийств?

Э. Р.: Большинство суицидентов — люди, которые безнадежно увязли в долгах или связали себя какими-то другими невыполнимыми обязательствами. Когда под угрозой честь или когда человек уже унижен и дальнейшая жизнь кажется невозможной. Не могу назвать число таких случаев, но они есть.

В. Б.: Какие из применяемых методов в исправительно-трудовом учреждении можно назвать перевоспитывающими?

Э. Р.: Таких нет. В законе сказано, что один метод — это труд, второй — политическое воспитание. Разумеется также, общеобразовательное воспитание и профессионально-техническое обучение. Вне сомнений, об общественно полезном труде говорить не приходится, труд в колонии — принудительный, рабский. Но речь идет об общественно полезном, т. е. о таком, которым мы бы могли заинтересоваться, совсем не о том, где человек — винтик, ноль. Тут ощутимо влияние нашей идеологической системы, которая на первое место ставит государство, а не человека. Вообще для авторитарных режимов характерно, что государство — это что-то огромное, святое. Если христиане полагают, что человек вечен, то мы — что государство вечно, а человек живет 70 лет.

Политическое воспитание. Это вообще смех: может ли оказать воздействие кодекс строителей коммунизма, который в цитатах

камеры с галошей в руке. В тот вечер как раз все бабы были. Пришли все. Принесли маг, сигареты. И я всю ночь слушал музыку, до самого утра.

* * *

В. Б.: Ты думаешь о будущем?

Р.: Когда вышел из зоны, начал строить дальнейшие планы, что буду делать, как жить. Но мои фантазии не исполнились. Сейчас я в принципе живу только сегодняшним днем. Еще надеюсь, что произойдет что-нибудь такое, что даст импульс. Скоро будет два года, как я на свободе. Не хочется попадать в зону, но заранее ничего не знаешь. Было пару раз, когда меня могли повязать.

В. Б.: За что?

Р.: За то самое, за что уже сидел, — за драки.

В. Б.: Появляется ли желание отомстить?

Р.: Когда остаюсь один, такие мысли приходят на ум. Но я никогда не стану этого делать.

В. Б.: Как ты думаешь, может что-то измениться в исправительно-трудовых учреждениях?

Р.: А в этом государстве может что-то измениться?

развешан на территории колонии? К тому же осужденные буквально кожей чувствуют абсурд режима. Не было еще государства, которое объявляло бы столь благородные и гуманные принципы, — а все происходит в нем иначе. Поэтому все эти воспитательные методы потерпели полное фиаско.

В. Б.: Каковы условия труда осужденных?

Э. Р.: Это регулярное, грубое нарушение трудового законодательства, которое проявляется даже в вопросах охраны труда, даже в вопросах техники безопасности, даже в таком вопросе, как продолжительность работы. Осужденные настолько бесправны, что не могут избежать сверхурочной работы. Если они не выполнят сверхурочную работу, их оштрафуют. Это реальность!

Явление распространено настолько, что осужденных вынуждают писать администрации заявление о своем желании работать в сверхурочное время. Мы боролись с этим, но бесполезно.

В. Б.: Часто ли осужденные совершают преступления в исправительно-трудовых учреждениях?

Э. Р.: Да. Обычно преступления с применением насилия. Особенно хулиганство, избиение, нанесение увечий, убийство.

В. Б.: Много ли таких?

Э. Р.: Убийств в этом году было уже... Такие преступления, как хулиганство, совершаются часто. Но надо иметь в виду, что существует очень большое число латентных преступлений. И его скрывают, к тому же тщательно. Принцип таков, что в колонии нераскрытых преступлений быть не может. Если бы они имели место, то к чему тогда огромный аппарат сотрудников колонии? К сожалению, желаемое выдается за действительное. Если кому-то нанесены телесные повреждения (синяк под глазом), требуется объяснение такого рода: шел, открывал дверь и попал по глазу; упал и сломал нос или руку; свалился с верхней кровати и разбил голову. Многие преступления сведены до бытовых и производственных травм. Потерпевшая сторона претензий не предъявляет, считаясь с тем, что заключение продолжается и после судебного процесса.

В. Б.: Обычно вина доказывается?

Э. Р.: В принципе в категории подобных дел мы доказываем те из них, где виновный сам себя признал виновным. Если он себя виновным не признает, то на суде большинство потерпевших меняют свои показания, опровергают данные во время следствия свидетельства о получении физических травм и т. п.

В. Б.: Существуют ли уголовные дела, в которых преступление совершено представителями администрации?

Э. Р.: Дела охранников рассматривает военная прокуратура. Мы имеем право возбудить дело, но не правомочны производить аресты, допросы, задержание. Надо сказать, что во время моей работы военная прокуратура славилась совершенно вольным толкованием законов. Все дела против прапорщиков и офицеров, распускавших руки, носивших таблетки, бравших взятки, были закрыты. Доказательства развешивались по ветру, рассматривались как недостоверные или неточные. Все эти дела погублены.

В отношении уголовных дел против администрации со стороны работников МВД надо сказать, что дела имеют шанс дойти

до суда в том случае, когда их возбуждают сами коллеги виновного из-за конкуренции или из зависти.

Но большинство действует по принципу — ворон ворону глаз не выклюет. Если дело и дойдет до суда, или штраф смехотворно мал, или людей оправдывают.

Было дело, когда представитель администрации носил в больших количествах осужденным чай, алкоголь и за это брал деньги. Военный трибунал рассмотрел как малозначительный проступок, и суд вынес условную меру наказания. Подобные дела трудно доказуемы, т. к. многие осужденные, которые являются свидетелями, в них замешаны. К тому же в какой бы колонии они не оказались — к ним можно найти дорожку, и на них воздействуют как в ходе расследования, так и во время суда. Бывали случаи, когда свидетелям открыто угрожали, сулили всевозможные блага, направляли отбывать наказание за пределами Латвии.

Было уголовное дело в Елгавском исправительно-трудовом учреждении. Имелись все основания предполагать, что в нем замешаны также руководящие работники. Из дела ничего не вышло. При ведении дела исходили из презумпции недоверия к свидетельствам осужденных, поскольку они могли быть заинтересованными. В этом состояла суть подхода. Таким образом, вообще ни одно подобное дело не могло дойти до суда, если пострадавшими оказывались осужденные. Заколдованный круг, из которого еще не найден выход.

В. Б.: Как контролируются действия администрации?

Э. Р.: Преимущественно проверкой жалоб, но на деле проконтролировать уже нельзя.

В. Б.: Поэтому и возникает серьезный вопрос: кто работает в подобных учреждениях?

Э. Р.: В Минске существует школа при Министерстве внутренних дел с филиалом в Риге, где есть специальный курс для этих работников. Однако в большинстве случаев воспитателями или начальниками отрядов работают люди, не связанные с педагогикой. Молодые пары без опыта. Есть и деклассированные элементы, уволенные с работы в милиции или армии.

В. Б.: Существует ли дефицит кадров в этих учреждениях?

Э. Р.: Да.

В. Б.: На пленуме творческих союзов ты сказал: если бы можно было установить число всех изнасилованных в тюрьме, цифра оказалась бы впечатляющей. Существуют ли подобные уголовные дела и осужденные ли виновные?

Э. Р.: Да, естественно. Надо сказать, что в суд обычно уходят дела о добровольно совершаемых действиях. Это люди с уже заметными признаками дебилизма, и их инстинкт самосохранения настолько слаб, что они несколько не стремятся оправдаться.

Но дела, в которых насильно совершено гомосексуальное действие, вне сомнений, имеют место. Но большинство их или закрываются или отправляются на следствие за недостаточностью улик. Другое дело, если бы мы располагали таким эффективным средством, как видеокамеры, если бы все происходящее в камере фиксировалось. Технически это делается легко.

В. Б.: Если зал конгресса невозможно обеспечить электронной аппаратурой, то видео в тюремной камере кажется весьма отдаленным будущим.

Э. Р.: В принципе, надо сказать о полной реорганизации, о ликвидации трудовых учреждений лагерного типа и тюрем, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.

В. Б.: Какие возможности отстоять свои элементарные человеческие права у заключенных?

Э. Р.: Жизнь человека, его здоровье там беззащитны. Единственное, осужденные могут писать жалобы прокурору. Но большинство этих жалоб не дает результата. Потому что нужно доверие к свидетельствам обеих сторон, но так как стороны антагонистичны, свидетельства обычно диаметрально противоположны. Если нет других свидетелей, то никакого результата не приходится ожидать. Единственная возможность — создать условия, при которых соприкосновение между администрацией и осужденными и между самими осужденными уменьшены.

В. Б.: Ты упомянул здоровье. Как обеспечивается его охрана?

Э. Р.: Осужденные много высказываются по этому поводу. Оно и понятно. Если осужденный идет к врачу, это рассматривается как попытка уклониться от работы. Все сводится к тому, что больная — это симулянт. Есть и такие случаи, когда в результате невнимательности врача серьезно портится здоровье осужденных. Особенно это относится к тем, кто болен туберкулезом.

В. Б.: Туберкулез, наверное, там самое распространенное заболевание.

Э. Р.: Да. Это вызвано влажностью, недостаточностью питания, плохими санитарными условиями.

В. Б.: Достаточно ли лекарств?

Э. Р.: Бывает, что и витаминов нет. Так как законом запрещена передача каких-либо препаратов близкими, то, естественно, медицинское обслуживание не обеспечено на нужном уровне.

В. Б.: Организует ли администрация исправительно-трудовых учреждений специальную сеть доносчиков?

Э. Р.: Конечно. Это их задача. Есть специальные инструкции, которые этого требуют.

В. Б.: Вместе с этим образуется привилегированный слой?

Э. Р.: Привилегированный слой для администрации, но не для заключенных. Сам тот факт, что с преступностью борются аморальными методами, о пользе этой системы ничего хорошего не говорит.

В. Б.: Но бригадирам, которые выбираются из рядов осужденных, даются почти такие же широкие полномочия, как и милиции.

Э. Р.: У большинства из них нет никакого авторитета. Негативно настроенные преступники их уничтожают, стараются на них отыграться.

В. Б.: Во всяком случае, это механизм контроля администрации над осужденным.

Э. Р.: Это известные рычаги, которые влияют на остальных.

В. Б.: Чисто физически тоже?

Э. Р.: Не совсем, но могут иметь место и такие случаи. Чаще всего бригадиром ставят физического сильного человека, у которого физический и духовный перевес в сравнении с другими.

В. Б.: Почему осужденным разрешено отправлять так мало писем?

Э. Р.: Это просто идиотизм. Это выдумал какой-то бюрократ. Корни спрятаны в лагерях времен Сталина. Это был известный политический момент, чтобы по возможности меньше информации выходило из колонии.

В. Б.: То же самое с числом свиданий?

Э. Р.: Примем во внимание, что администрация в любой момент может запретить свидание. Осужденный ждет, ждет, а за неделю или за день до свидания его лишают встречи. Уже одно это унижает человека. Он полностью зависим. Фактически унижается человеческая честь, достоинство.

В. Б.: Есть ли возможности для верующих реализовать свои религиозные чувства?

Э. Р.: Нет. Это не предусмотрено регламентом. У нас делается только то, что предусмотрено регламентом.

В. Б.: Насколько велико количество повторных судимостей?

Э. Р.: Примем во внимание, что в республике 3 колонии строгого и 2 колонии общего режима. Это колонии, где отбывают наказание повторно. И есть одна колония общего и одна усиленного режима, где отбывают наказание лица, судимые впервые.

В. Б.: Где-нибудь в мире используется система, которая для нас является основой основ «тюрьма — производство», или это наше «достижение»?

Э. Р.: При рабовладельческом строе. По-моему, «тюрьма — производство», в которой был бы план и которая была бы включена в единую народнохозяйственную систему, не существует нигде. В сколько-нибудь цивилизованном обществе. Потому что чисто экономически такой труд выгоден только в условиях экстенсивного хозяйствования.

В. Б.: Именно в такой системе существует заказ на труд заключенных?

Э. Р.: Абсурдно, но так. Если бы государство было развито индустриально, то система отмерла бы сама собой. Условия жизни заключенных обеспечивались бы за счет общества, близких или на основании добровольного, свободного труда. За границей известны случаи получения ученых степеней заключенными — они занимались тем, что им нравилось.

В. Б.: В настоящее время отбывание наказания в наших исправительно-трудовых учреждениях связано с постоянным унижением, или подобным образом можно положительно воздействовать на человека?

Э. Р.: Нужна абсолютно новая система, в которой осужденный был бы изолирован и защищен от унижений. К осужденным нужно допускать психологов и священников. Ничего мы не сделаем толпой, как у нас принято. Только через себя, через конкретного человека.

В. Б.: Но пока осужденный постоянно в толпе.

Э. Р.: Он не имеет даже возможности уединиться, обдумать свою жизнь. Он постоянно находится в стрессовом состоянии: вдруг кто-нибудь оскорбит, ударит, унижит? Это тоже требует поддержки.

В. Б.: Ты ушел с работы, не видя возможности для перемен?

Э. Р.: Я видел возможности и сейчас их вижу. Но я не хотел быть соучастником, потому что я тоже подписывал ответы заключенным. Исполняя свои прямые обязанности, я просто был не в состоянии помочь осужденным.

Самое плохое в том, что у нас, в отличие от других стран, отсутствует серьезная программа борьбы с преступностью. В этом существенную помощь могла бы оказать религия, отделенная в настоящее время от исправительно-трудовых учреждений, ведь этот путь к примирению, размышлению, милосердию, преобразению для осужденных закрыт.

АНТОНИЙ МАРХЕЛЬ

«CASSIBER» —

ПОСЛАНИЕ В СССР



Концерт «Cassiber» в Риге, 24 мая 1989 г.

Эта группа появилась в очень нужный момент. Большинство импровизационных музыкантов, называемых по инерции джазовыми, зашли в тупик после десяти лет тотального отрицания любой предварительной договоренности о совместно создаваемой музыке. Их музицирование, переходящее иногда в звукоизвлечение, превратилось в «вещь в себе», в про-

цесс, от которого удовольствие может получить только сам участник. В мире альтернативного рока дела обстояли не лучше: люди там ходили по кругу, а время остановилось на середине 70-х годов. И даже отдельные попытки групп, как «THIS HEAT», идти напролом особой поддержки не находили. Имеющие мастерство не обладали больше свежими идеями, а

те, кто имел интересные мысли, не умели их реализовывать за отсутствием мастерства. И там и здесь вместо музыки чаще стали говорить о политике. Нет ничего плохого, когда политика соседствует с музыкой, но что бывает, когда политика определяет музыку, мы знаем лучше других. Эта группа появилась в очень нужный момент. Она соединила свежие



Крис Катлер

Хайнер Гёббельс



Кристоф Андерс

музыкальные идеи, мастерство и политику. «CASSIBER» — на немецком жаргоне это слово обозначает весточку, неофициально переданную из тюрьмы на волю. Группа стала этой вестью, переданной с воли, музыкантам и любителям музыки. Различные темпераменты, различный музыкальный опыт, различные вкусы и взгляды соединились в «CASSIBER», создав возможность прорыва в новое измерение, в новую эстетику, примирившую немецкий экспрессионизм с английским романтизмом. И первая же пластинка завоевала тысячи поклонников. Поэтому сердце странно забилося, когда позвонили и предложили послушать «CASSIBER» в Риге по пути их в Москву, на фестиваль с немислимым названием, принятым еще в соответствии со старыми (политическими) правилами игры в музыку.

Эта группа появилась в очень нужный момент. Оказалось, что сердца тех, кто взялся «нести (полуофициальную) музыку в массы», меняют свой ритм только в зависимости от размеров официального дохода. В конце концов все разрешилось. Узнать в неожиданно прилетевших Хайнере Гёббельсе и Кристофе Андерсе участников группы «CASSIBER»

можно по манере поведения, свойственной музыкантам «новой музыки» в новом месте. Сложнее ответить на тысячу «почему», возникающих у любого человека, впервые посещающего СССР: на половину их вопросов вы и сами ищите ответы, а с другой половиной так свыклись, что давно не обращаете внимания. Крис Катлер уже бывал в СССР, поэтому он знаком с нашим сервисом и не задает вопросов. Вопросы прямо на вокзале начинают задавать ему, куда он прибывает поездом на следующее утро, доверяя, несмотря на осведомленность, перевозку багажа только МПС. К нему не пробиться, и запланированное интервью приходится брать непосредственно перед концертом, когда публика уже сидит в зале.

Они действительно разные. Кристоф — немного идеалист с мягкой улыбкой, десятки раз меняющийся на сцене в соответствии с исполняемой музыкой. Хайнер — сосредоточен, кажется, что он всегда в музыке, уже созданной и создаваемой, и чуть ироничен по поводу своей игры на саксофоне и слабостей окружающих. Крис — импульсивен (что рушит наши представления о сдержанности англичан), когда неумоимо пропагандиру-

ет идеи независимого искусства. И они так похожи, когда выступают на сцене и получают от этого удовольствие, как и мы, сидящие в зале и внимающие их музыке. И тогда вспоминается банальная истина, что музыка объединяет людей.

Эта группа появилась в очень нужный момент.

«... ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ»

А. М.: Крис, Вы являетесь инициатором или участником более десяти различных музыкальных проектов, которые более или менее известны нашей аудитории благодаря грампластинкам. Одни из таких проектов — группа «CASSIBER» сегодня выступает в Риге. Событие, невероятное еще года два назад, но ставшее возможным вследствие перемен в СССР и изменению отношения к авангарду. Как и почему Вы начали сотрудничать с этой группой?

Крис Катлер: Во время подготовки рекламного сборника «Recommended Records» за 1981—1982 гг. я попросил Хайнера (Гёббельса) записать композицию для меня. Музыку Гёббельса и Харта я уже знал до этого,

CASSIBER



Фотографии ОЛЕГА ЗЕРНОВА

и она мне очень нравилась. Хайнер мне предоставил «Berlin Kudamm»² — одну из исполняемых им песен. Действительно отличная вещь! Но вместо барабанов там у него использована запрограммированная электроника, а я ненавижу этот искусственный, механический ритм. Тем более что использовалась не лучшая модель, и звучала она действительно по-идиотски. И я написал Хайнеру: «Спасибо огромное! Прекрасная музыка! В следующий раз, когда вам понадобятся барабаны, вместо этого ужаса вы можете использовать меня». И точно, в следующем проекте, а это и был «CASSIBER», я принял участие. Проект был довольно необычным для студийного: музыка не была написанной, музыка не была отрепетированной, она импровизировалась прямо во время записи, но это не та импровизация, которую каждый знает. Мы пытались импровизировать саму структуру композиций. Я приготовил несколько текстов для Кристофа (Андерса), которые он «накладывал» на подходящую мелодию. У него были и другие тексты, и Кристоф выбирал более соответствующий духу музыки.

Вот так мы сделали первую запись, и я повторяю, это был чисто студий-

ный проект. Мы, конечно, были очень довольны пластинкой, выпущенной на основе этой записи. Были хорошие рецензии, нас пригласили сыграть на джазовом фестивале, и мы согласились. Сделали несколько репетиций, стараясь запомнить некоторые куски, записанные на пластинку, и выступили. Очень полезный для нас был опыт... после этого все и началось!

Около шести лет мы играем в «CASSIBER», и все еще мы вместе. Только что записали очередную пластинку, и она отличается от предыдущей. Значит, мы все еще прогрессируем, а пока будет меняться наша музыка в «CASSIBER», мы будем играть в этой группе.

А. М.: Я вспоминаю, как меня поразила и тотчас же покорила первая пластинка «CASSIBER» «Map or top-keу»³, в которой было все: красивые мелодии и их разрушение, гармония и хаос, соединение ранней эстетики «Henry Cow» с концепцией Гёббелса — Харта. В «Perfect worlds»⁴ преобладает компонированная музыка. Чем вызваны такие изменения? В каком направлении меняется ансамбль сегодня?

К. К.: Мы видим направление, в кото-

ром нам двигаться. Мы стали трио⁵ и начали больше думать о музыке как драматическом произведении, а не просто о музыке как таковой, драматизировать свою музыку. И второе, более косвенно касающееся нашего развития. Оно связано с технологией создания звука.

Я думаю, что «CASSIBER» — одна из очень немногих групп, использующих саплерную⁶ технологию и ряд других очень современных электронных изобретений, и делает это очень органично. Мы пытаемся находить такие приемы работы с инструментами, чтобы создаваемая музыка продолжала ощущаться творением человека, потому что распространено мнение: все, что создается машинами, носит неестественный характер. И большинство людей так думают. Эта проблема появилась сразу же после возникновения электронной музыки, она беспокоит многих музыкантов и композиторов, использующих электронику, и пока оптимальный вариант еще не найден, но пытаться нужно.

Я согласен, что «CASSIBER» сейчас играет в основном компонированную музыку, но импровизация как творческий метод остается у группы. Мне кажется, что это еще одна большая

проблема для музыки сегодня. Нелегко создать определенный музыкальный продукт с профессионально безукоризненным звуком в эффектной технологической упаковке. Но мне это кажется совершенно бесмысленным, если музыка не содержит элемента незапланированности, непредсказуемости. Потому что, когда у вас есть право поиска и выбора в музыке, вы всегда можете открыть что-то новое, а когда вы упорно придерживаетесь только того, что написано заранее, скомпоновано, вы ничему не научитесь, никогда! Все будет довольно хорошо, но такая музыка никогда не станет великой. Это как в джазе, который оказал большое влияние на рок и на нашу музыку. Потому что джаз учил: своим инструментом вы должны говорить и только иногда работать на нем. Я думаю, такой подход полезен был бы каждому.

А. М.: Вы упомянули джаз, какое влияние он оказал непосредственно на вас?

К. К.: Я не могу сказать, что сильное. Я слушал джаз в 65—67 гг., когда начал экспериментировать. В тот период я работал с людьми, игравшими немного под «Soft machine»⁷, немного под «Pink Floyd». Мы занимались освобождением музыки, тогда я и слушал Сан Ра Джона Колтрейна⁸ и подобных им музыкантов — только этот джаз. Но я всегда интересовался Штокхаузеном⁹, Варезе¹⁰, электронной музыкой, современной камерной музыкой...

А. М.: И все это Вы синтезировали в «HENRY COW»?

К. К.: Во время работы в «HENRY COW», совершенно верно! В творчестве «HENRY COW» было влияние современной музыки, современного джаза в смысле импровизации — полной свободной импровизации без начальной структуры, идей, размера, тональности и т. д. Мы создавали 3—5-минутные импровизации, наполненные джазовым и роковым звучанием, и не стали отказываться от найденного языка позднее. Я уже сказал, что в «HENRY COW» была использована стилистика различных музыкальных культур: от классики до поп-музыки.

А. М.: Какую еще музыку Вам пришлось играть?

К. К.: Я начинал в школьном ансамбле, мы тогда копировали «Shadows»¹², и вообще я не думал становиться барабанщиком. В то время все хотели быть гитаристами (это так просто — научиться играть на электрогитаре!). Но обстоятельства вынудили меня сестру за установаку, хотя я и сопротивлялся. Мое сознание восставало против однообразных ритмов, я хотел расширить возможности барабанщика, я хотел просто играть мелодию, и я играл мелодию. Затем я играл раз-

личную музыку: рок, соул, в армейском оркестре, свободный джаз.

А. М.: Крис, мы ограничены во времени, я просто не успеваю распространить подробнее об участии в других проектах, но еще об одной стороне Вашей деятельности — выпуске пластинок на фирме «Recommended Records» — Вы должны нам рассказать. Если я не ошибаюсь, Ваша фирма стала первой независимой компанией, поддержавшей альтернативный рок в то время, когда дела в этой музыке обстояли довольно плачевно: крупные компании отказались от выпуска экспериментальной музыки, ориентируясь на диско, устоявшиеся формы рока, непритязательный джаз-рок и традиционный джаз. Продукция «Recommended Records» изначально была нацелена на коммерческий успех. Переиздав несколько работ Сан Ра и рокового авангарда, Вы занялись выпуском пластинок близких по духу музыкантов со всего мира, в том числе и из социалистических стран, предвосхитив другую лондонскую фирму «Leo Records»¹³. Какова сейчас ситуация с «Recommended Records»? К. К.: Я начал «Recommended» в последний период сотрудничества в «HENRY COW», и прежде всего цель организации фирмы была в распространении музыки, выпущенной различными маленькими компаниями; музыки, которая имеет много поклонников, но не доходит до них. Это целое сообщество таких людей, живущих во всем мире и готовых слушать экспериментальную музыку. Для этих людей и была создана наша фирма. Например, в Мексике с удовольствием будут слушать «BIOTA»¹⁴ или вашу «ЗГУ»¹⁵ и ощущать себя частью этого общества, даже если никогда не увидят «живьем» этих музыкантов. Но они могут получить пластинки и, находясь под впечатлением или влиянием таких пластинок, создавать свою собственную музыку, а затем послать ее на «Recommended», и мы будем ее распространять. У нас удобное географическое положение, и деятельность на «Recommended» в этой области можно считать успешной.

Другая часть нашей программы — выпуск собственной продукции. Обычно каждая фирма имеет свою специализацию: то ли это европейский «поп» или «рок», то ли «кантри». Мы стараемся не ограничивать себя в рамках одного жанра: что-то из современной классики, что-то из «попсовой» музыки, импровизационной, «шумовой», типа «BIOTA». Все это составляет единую программу «Recommended Records», каждый создает определенный тип музыкального языка, развивает словарь музыкального произведения, и мы все понимаем этот язык. Поэтому, даже не принимая музыку по каким-то причинам, любой из нас всегда может оценить уровень

самой работы музыканта, оказать влияние друг на друга. Я имею в виду не прямое подражание Сан Ра или «Univers Zero»¹⁶, а наличие определенной информации в вашем сознании, возможность всплеска и собственного развития на этой основе, которое также поймут другие. Это очень важный момент работы «Recommended».

А. М.: Что ж, пора на сцену! Спасибо за интервью, спасибо за музыку, и надеюсь снова встретиться в Риге. Успехов!

¹ Альфред Харт — западногерманский музыкант и композитор, играющий на многих инструментах, основные из которых саксофон и кларнет. Долгие годы сотрудничает с Хайнером Гёббельсом, известен больше в мире т. н. «free jazz» и импровизационной музыки.

² «BERLIN KUDAMM» («Recommended Records Sampler DLP 82») — сокращенное название Kurfürstendamm — одной из центральных улиц Запа. Берлина, происшествие на которой во время демонстрации 12.04.81 легло в основу композиции Х. Гёббельса.

³ «Man or Monhe» (Riscant Hoos, DLP 82).

⁴ «Perfect Worlds» (Riscant 4018; 86).

⁵ А. Харт покинул группу после записи двух альбомов, предпочитая последние годы реализовывать только собственные проекты.

⁶ Самплерная технология — использование заранее записанных или синтезированных на специальных пластинах звуков, мелодий или даже оригинальных фрагментов произведения с целью дальнейшего введения их в фактуру непосредственно исполняемой музыки, при этом возможны ритмические, тональные и тембральные изменения структуры записанных образов-сэмплеров.

⁷ «Soft Mashine» — английская группа конца 60 — нач. 70-х годов, в основе которой лежали рок, свободный джаз и электронная музыка. Музыканты этой группы существенно повлияли на развитие альтернативного рока в Европе.

⁸ Sun Ra — псевдоним Сонни Блаунча, известного пианиста, композитора и руководителя оркестра, одного из старейших новаторов в авангардном джазе.

⁹ John Coltrane — легендарный саксофонист, много сделавший для реформы джаза в 60-е годы.

¹⁰ Karlheinz Stockhausen — западногерманский авангардный композитор.

¹¹ Edgard Varèse — американский авангардный композитор, оказавший влияние на многих рок-музыкантов. Среди них Френк Залпа.

¹² «The Shadows» — популярная английская группа 50—60-х гг.

¹³ «Leo Records» — лондонская фирма, выпускающая в основном экспериментальные формы джазовой и импровизационной музыки. «Leo Rec.» издала практически весь советский джазовый авангард, а также музыкантов из Чехословакии, Румынии и Венгрии.

¹⁴ «BIOTA» — американская группа, использующая импровизацию, электронику, принципы коллажа и элементы «индустриальной музыки».

¹⁵ «ЗГА» — рижская группа альтернативной музыки, пластинка которой вышла на «Recommended Rec.» (Point East PE02, 89).

¹⁶ «Univers Zero» — бельгийская группа, совмещающая камерную и роковую музыку.

ОЯРС СПАРИТИС

БЛЕСК ИМЕН КУРЛЯНДСКИХ ГЕРЦОГОВ



Герцог Петер Бирон. Картина Луиджи Римондини, ратуша, Саган.



Доротея фон Медем — жена герцога Курляндского Петра. Ок. 1795 г.

... «Итак, у наших ног дворец: он стоит на невысоком холме посреди долины, и его окружает чудесный парк. Зеленые жалюзи в окнах опущены, на балконе не видно цветов, розы, высаженные вдоль белокаменного забора, пожухли, в саду не увидишь ни господ, ни слуг в ливреях... Диковинные заморские деревья сбросили свои зеленые одежды, укутаны в солому; фонтан, еще недавно швырявший вверх струи серебристой воды, обложен досками и дерном, золотые рыбки скрылись в глубинах пруда, гладь воды потускнела, усыпана опавшими листьями, поросла желтыми кувшинками!»¹

Блеск титулов Герцогов Курляндских не потускнел и после 1795 года, когда относительно самостоятельное государство вошло в состав Российской империи. Скорее наоборот. Имена членов рода Биронов, вовлеченных в события политической и культурной жизни, обрели свое звучание и вес в аристократических салонах Европы той поры. Но по известным эпизодам нельзя, впрочем, реконструировать ту

духовную высоту, которую обусловила среда, созданная Петером Бироном и его дочерьми, среда, отблески своих индивидуальностей в которой оставили и политики — Наполеон Бонапарт, Шарль Морис Талейран, Клемент Меттерних, писатели Э. Т. А. Гофман и И.-В. Гете, музыканты и художники — Ф. Лист, А. Граф, Я. Грасси, Л. Римондини. Бесспорно, однако, что, позволяя себя вести романтическим событиям, попадая под обаяние участников этих событий, широкий в начале путь изучения истории Латвии становится все уже, петляет, превращается в едва заметную тропинку — иной раз выводящую на солнечную лужайку и позволяющую обнаружить многое из не замеченного ранее.

Дворец в Ратиборжце был самым небольшим из всех владений Петра Бирона, его обустройству (дворец на границе Нижней Силезии и Чехии), начиная с 1792 года, дальновидный герцог уделял особое внимание. Именно этот интимный, небольшой летний дворец стал после смерти

герцога, любимым местом пребывания его дочери Катрины (1781—1839). Построенное в начале XVIII века невзыскательное строение со своеобразной крышей во время жизни его прежних владельцев, Пиколомини, не перестраивалось, с начала же XIX века обрело ампирные интерьеры, пейзажный, мягкого настроения парк, свободно включивший в себя и хозяйственные пристройки, мельницу, домик для гостей.

«Пол в вестибюле был покрыт белыми мраморными плитами, в центре вестибюля стоял биллиард художественной работы. Вдоль стен на зеленых мраморных постаментах установлены гипсовые статуи, изображающие мифологических героев. Четыре двери вели в апартаменты герцогини. Возле одной из них дремлет в кресле камердинер в черном фраке. . . . Стены кабинета герцогини задрапированы тканью салатного цвета с золотой вышивкой; того же цвета портьеры на дверях и большом окне. По стенам в больших и маленьких рамках портреты. Напротив окна камин из серого, в белых прожилках, мрамора, на нем две японские фарфоровые вазы, в тех — пахнущие на всю комнату цветы. По обеим сторонам камин — полки резного дерева, там скопились разные пустячки — художественные поделки, драгоценности, красивые раковины, кораллы, камни. . . . В одном углу окна — статуя Аполлона из каррарского мрамора, в другом — простой, но изящный письменный стол. В кресле, обитом зеленым бархатом, возле стола сидит одетая в белое герцогиня».

После смерти герцогини Катрины дворец в Ратиборжце наследовала ее младшая сестра Паулина, породнившаяся с родом Гогенцоллернов-Гехингенов, и поэтому уже через год это имущество она продала.

Главная резиденция Петра Бирона, дворец в Находе возвышался над невысокими зданиями средневекового городка, поскольку чешский пограничный пункт XIII века — крепость и две башни, построенные в XVI—XVIII вв. — оброс всевозможными хозяйственными и жилыми корпусами, как монументальная постройка со сложным силуэтом, обретя характер относительно завершенного ансамбля.² Действуя через посредников, Петер Бирон приобретает дворец за 1.222.000 золотых гульденов на аукционе, где его продавал финансово неудачливый прежний владелец — Франтишек Антоний Дефур (Desfour). Беспокойный по характеру герцог решил, что старомодный дворец нуждается в улучшениях, и с 1794 года начинается интенсивное благоустройство дворца.³ В отсутствие самого герцога над конюшней устроен театральный зал, в парке создается амфитеатр для летних представлений, обновлены 298 ведущих в город каменных ступеней, многие черепичные крыши, устроены аллеи, проведены иные работы по благоустройству. Из Саганы прибывает герцогская мебель, в Праге закупаются новые предметы интерьера, приобретаются картины, гобелены заменяются обоями и т. д. Впервые свои владения герцог видит весной 1796 года, приехав в Находу вместе с дочерьми.

Второй расцвет дворец пережил, находясь во владении дочери герцога Катрины (ее звали еще и Вильгельминой, хозяйкой замка была в 1800—1839 годах). В 1809 году парк стали переустраивать в традициях пейзажного парка под руководством капеллана Йозефа Регнера. Теперь же как парк воспринимается лишь примыкающая ко дворцу территория, а к 1830 году сформировался целый парковый массив — разросшийся, постаревший, ставший по-своему «романтическим». В помещении дворца располагался музей истории округа со своими фондами, научными работниками и службой сервиса, которая активизируется лишь во время туристического сезона. А в остальное время — спокойная тишина и созерцательность научной работы.

Можно сделать предположение, что наследникам Медемов по линии третьей жены герцога Доротеи, фон Медем, могли достаться какие-либо памятные предметы, письма, даже рисунки или проекты. Своего уточнения ожидают четыре архитектурных рисунка, которые, возможно, будут идентифицированы как наброски проекта театра

дворца в Находе. Того самого театра, открылся который представлением моцартовского «Дон-Жуана».

Еще большей строительной активностью оказался охвачен дворец в Сагане, равноценный дворцу в Находе. Там были заново отстроены оранжерея, конюшни с манежем, «дом Кавалеров», мост и т. д.⁴ После перестройки дворца, осуществленных легендарным фюрстом Альбрехтом Валленштейном в 30-е годы XVII века, дворец в 1645 году разрушили шведы. Следующие владельцы дворца — род фюрстов Лобковичей, которые обновили здание по проекту А. делла Порте в 1670—1695 годах. Стандарты моды того времени показали Петеру Бирону устаревшими, и он начинает работы по переустройству дворцового ансамбля и благоустройству под руководством королевского директора строительных работ Кристиана Валентина Шульце по проектам художника Луиджи Римондини и мастера-каменщика Саганы Йогана Готлоба Феллера.

Во владении наследников герцогских титулов Саганы и Дино, а именно потомков рода Биронов-Галейранов, Саганский дворец находился до II мировой войны. В Саганской церкви находятся их захоронения, но их исторические связи с Латвией еще только исследуются. Точно так же ведутся поиски следов богатых коллекций картин, мебели и т. п., которые еще в 20—30-х годах существовали в своей полной сохранности, как во дворце Спящей королевы, а теперь разошлись по миру вместе с новыми — законными и незаконными — владельцами.

В различных публикациях о владельцах дворца в Сагане и истории строительства зданий нет настоящей согласованности, поскольку конкретных материалов, проектов постройки герцогской резиденции историки в польских архивах и библиотеках еще не обнаружили⁶. Однако в результате стечения неизвестных нам обстоятельств Латвийская государственная библиотека им. Вилиса Лациса может гордиться многими, вызывающими теперь уже и международный интерес проектами, весьма важными для атрибуции объектов комплекса Саганского дворца.

Как наиболее значительный, упоминания заслуживает рисунок плана первого этажа Саганского дворца, который (подписанный Й. Г. Феллером) может относиться к первым годам владения П. Бирона. В нем отразились воплощения идей А. делла Порте по преобразованию средневековой крепости XVII века (с учетом ее прямоугольной, фортификационной планировки) в представительный дворец «palazzo in fortezza». На рисунке зафиксирован дворец в последнем десятилетии XVIII века с экспликациями, соответствующими пожеланиям герцога по части новых функций многих помещений дворца. В этом проекте интересно устройство Южного корпуса или галереи под аркадами, которая, подобно грациозному бельведеру, прямыми ступеньками нисходит от верхнего двора до вала городских укреплений и далее выходит на овальную лестничную платформу, откуда начинается дорога в три и фазанерий. Задуманная А. делла Порте эта часть дворца была, видимо, снесена при перестройке 1845—1855 годов⁸, а точнее — перед 1847 годом, когда по инициативе герцогини Саганской и Диноской Доротеи были начаты работы по переустройству и раскрытию ранее замкнутого двора в сторону новоустраиваемого парка. О существовании галереи свидетельствует сохранившийся фрагмент фундамента, который несколько выдвигается из цокольной части стены Южного корпуса.

Теперь главным служит вход через Северный корпус, который небольшим партером включается в улицу и входит в городскую структуру. На рубеже XVIII и XIX веков, как указано на плане Й. Г. Феллера, главным въездом во дворец были ворота Западного корпуса, который, вместе с мостом через вал, присоединял престижные герцогские здания — комплекс конюшен и манежа возле старой стены городских укреплений. Грандиозное здание конюшен и манежа до наших дней не сохранилось. Часть фундаментов используется новой жилой застройкой, но под слоем земли угадываются контуры фундамента, ограничивающие ворота камни.



Принцесса Иоганна.

Дворец в Находе.

Дворец в Сагане.

Дворец и парк в Ратиборжце.

Французская библиотека во дворце Саганы. Репродукция снимка 1920 года.



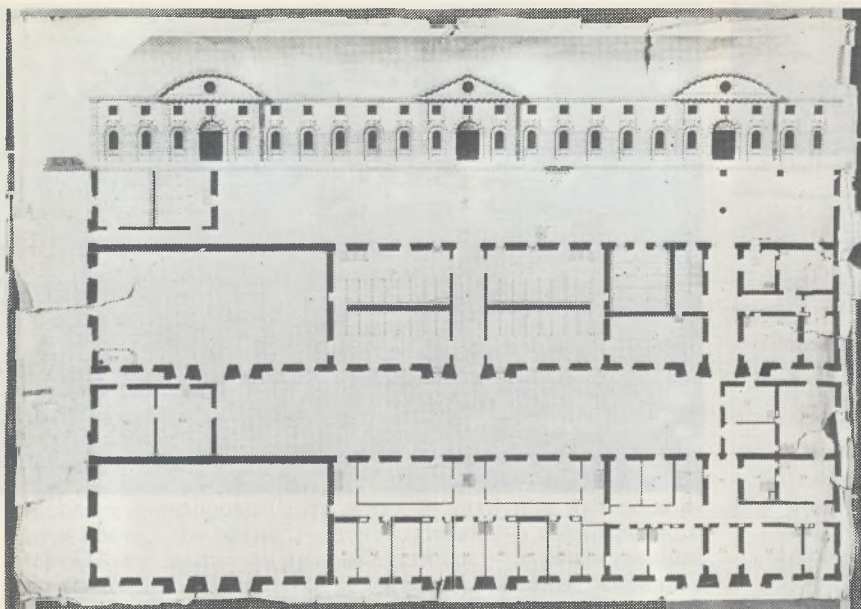
2.

1.

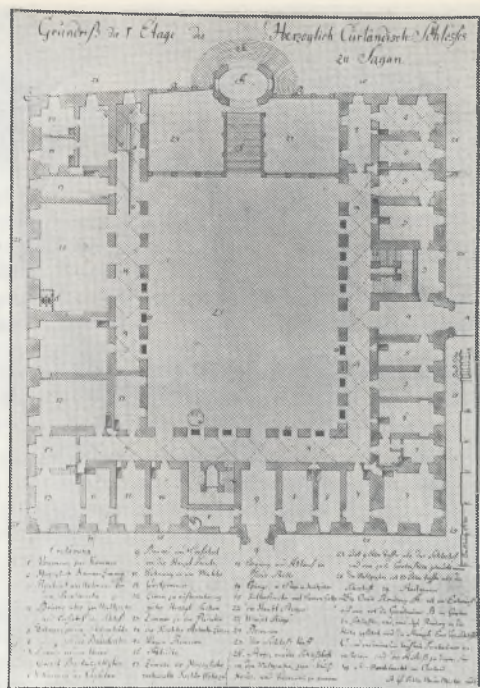
3.

5.

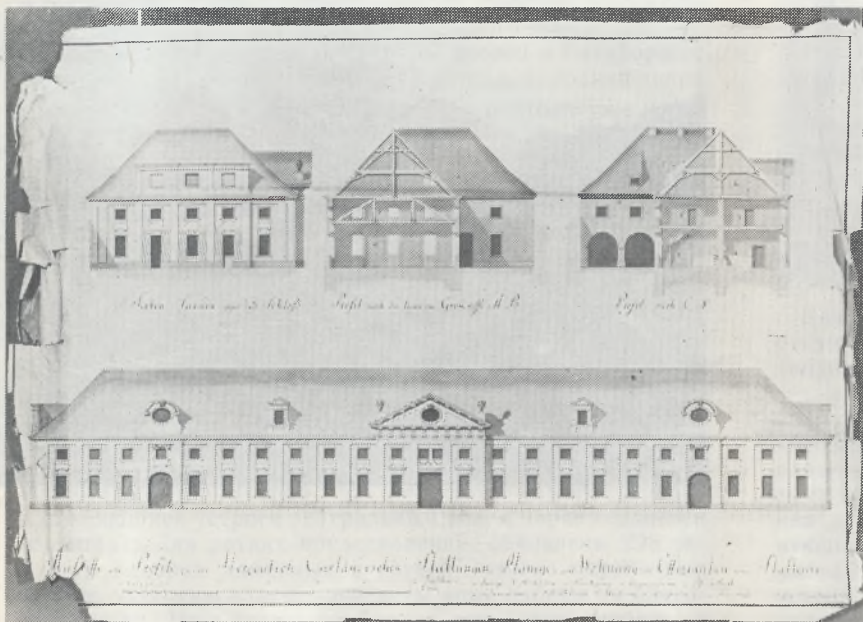
4.



Осуществленный Л. Римондини план конюшен и манежа в Сагане.



Изображенный Й. Г. Феллером план первого этажа саганского дворца.

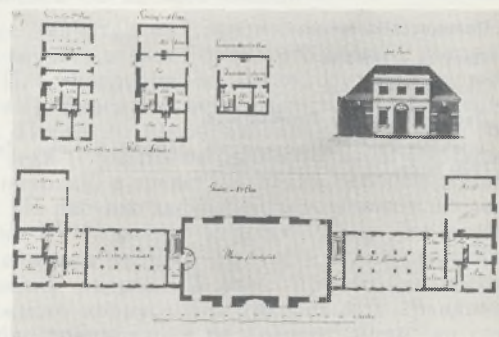


Проект Й. Г. Феллера.

В нашей коллекции имеется целых три (!) варианта этого здания, которое в качестве конкурсных проектов создали три мастера с разными почерками. Проект, подписанный «Remondini»,⁹ представляет с размахом задуманный фасад с несколько выдвинутыми тремя ризалитами — тремя входами. Числовое отношение осей окон выражается формулой $2 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 2$, то есть всего 23 оси. Рустовка основного этажа здания стилистически приближена к фактуре оконных проемов. В свою очередь, квадратные оконные проемы и зубчатые карнизы фронтонов всех трех ризалитов уже полностью говорят на языке классицизма.

Другой вариант демонстрирует роскошь центрально-европейского классицизма — возможную на уровне данного заказа. Архитектор Й. Г. Феллер предлагает концепцию конюшни как второго дворца, нивелируя при этом семантические различия внешнего облика жилища аристократа и хозяйственной постройки. На листе проекта с фронтальным рисунком вытянутого фасада видим плоскость стены, ритмически поделенную пилястрами, классицистские оконные проемы и зеркала, пышный центральный

Авторы фотографий:
О. Спаритис — 1—6,
Н. Засс — 7—10.



Проект, созданный анонимным рисовальщиком.

вход с треугольным фронтоном и декоративными вазами по углам. Различные формы наличников разнообразят иначе бы монотонные плоскости крыш. План основного этажа и антика характеризуются пространственным решением помещения с местами расположения лошадей, склада кормов, кухнями, жилыми помещениями для дворни и узким, примыкающим к стене городских укреплений двором.

Возможно, по какой-нибудь гравюре удастся определить, какой из проектов был реализован, существует, однако, упоминание, что манеж и конюшни, а также замковый мост и «дом Кавалеров» строились по проектам Й. Г. Феллера. Но как тогда объяснить существование третьего проекта, гораздо более скромного по сравнению с предыдущими, элементы же стиля, приемы конструктивных решений, даже каллиграфия, сходны со многими проектами латышских имений — из рисунков, принадлежащих графу Медему.

Частичную ясность привносит переписка брата герцогини Доротеи Жанно Медема с управляющим постройкой Саганского дворца и его благоустройства «fon Vernezobrex». Жанно Медем активно сотрудничал с ним, помогал решать как финансовые проблемы, так и организовывал архи-

текторов и строителей, следил за разработкой проекта. Из письма к фон Вернезобре, написанного 27 декабря 1794 года, можно понять, что одно из задуманных строений, предназначенных под конюшню, оказывается слишком большим, другое же — кажется слишком маленьким, поэтому «я уже набросал другой план по своей идее и отдал на разработку, и я не забыл — как только это окажется возможным, передам этот проект на утверждение Его Высочеству».

Остается только предполагать, что мешало сделать окончательный выбор в пользу одного из двух практиковавших в Сагане авторов — Римондини или Феллера, — но очевидно, что у уполномоченного Петера Бирона возникли разногласия с проектировщиками, и пришлось торговаться. Все же в результате конюшни и манеж были построены по проекту Й. Г. Феллера.

В Берлин или после этого в Латвию, где в то время находился Жанно Медем, могли попасть готовые проекты как задание на проектирование или как документы коррекции и контроля объемов работы. Брат герцогини мог, среди наследства, получить часть принадлежащих Доротее вещей, среди которых и проекты. Но все это — лишь романтические рабочие гипотезы, уточнить которые окажется возможным лишь после дальнейшего изучения материалов.

Кроме уже упомянутых, точно атрибутированных проектов, собрание Государственной библиотеки включает в себя целый ряд анонимных рисунков задуманной в помпезной пышности архитектуры малых форм. Рисунки отражают стилистические особенности периода смены позднего барокко классицизмом. Эти строения можно классифицировать как парковую архитектуру для нужд высшей аристократии: беседка, павильоны, постройки для развлечений или эрмитажи и т. д. Все эти объекты характеризуются полигональной схемой планировки фундаментов — четырехугольных с усеченными углами либо правильный восьмигранник, в котором два противоположных или все четыре главных фасада дополняются ступеньками, портиками или постоянными пристройками. В оформлении фасадов доминирует двоякий подход: зеркала и плоскости гладкой штукатурки чередуются с гладкими либо рустированными пилястрами. Силуэты крыш, в свою очередь, по преимуществу повторяют барочные конструкции типа изогнутых шлемов с окнами или без. Лишь в одном случае автор предлагает купол полусферической формы — над вторым этажом павильона типа ротонды.

Особенностью рисунка, не характерного для архитектора, можно считать живописное моделирование светотени в наброске фасада и еще — необычайную наивность в изображении вазы над куполом: изображение ее дано одновременно как вид сбоку и вид сверху. Предположение, что автором рисунка мог быть художник, подтверждается фактом, что придворный живописец Петера Бирона Луджи Римондини делал наброски оранжереи, участвовал в перестройке театрального зала и сцены, в промежутках же создавал портреты членов семьи Бирона и его гостей. У художника-живописца могло быть иное понимание архитектурной стилистики, более неконвенциональное, свободное от обязательности применения диктуемых модой деталей, с большим диапазоном заимствуемых мотивов. Это могут подтвердить и подписанные Римондини листы проекта конюшен и манежа, где много внимания уделено художественной разработке фасада, даже сбалансированию его декора с приемами рустовки цокольного этажа дворца, в то время как архитектор Феллер проектирует манеж как самостоятельный объект, «стройку века» с высоким коэффициентом самостоятельной ценности. Эти проекты могут быть отнесены к принадлежащим руке Луджи Римондини с достаточно большой вероятностью, поскольку аналогичные способности Римондини-рисовальщика доказаны уже идентифицированным и даже подписанным им проектом триумфальной арки¹³. И это придает уже мировое звучание имеющимся в Латвии материалам.

Было бы неверно полагать, что деятельность находившихся в герцогском окружении художников на грани XVIII и XIX веков ограничивалась дворцовым ансамблем, так как известно, что Й. Г. Феллер участвовал в строительстве монастыря августинцев в Сагане¹⁴. В то же самое время в городе возводятся различные здания, производятся перестройки, ядро которых свидетельствует о высоком мастерстве проектировщика, а отдельные формообразующие и композиционные приемы близки к обнаруживаемым в проектах герцогских конюшен и манежа.

С известными допущениями можно еще предположить, что строениям двух проектов Римондини можно найти соответствие в смысле стиля в архитектуре Саганы: в формах, которые приняла после очередной перестройки башня готического собора Петра и Павла (XIII век), в пропорциях построенного на рубеже XVIII и XIX веков здания княжеского управления и в датированном 1793 годом облике здания земельного управления. В отсутствии возможности точного комментирования делать поспешные утверждения нельзя, но число осей окон, членение этажей, сходство пропорций, конфигураций крыш и другие параллели подтверждают, по крайней мере, что направление художественной мысли при решении задач одного типа происходило в одном стилевом русле. Если непосредственно Римондини и Феллер не принимали участия в строительстве общественных зданий Саганы, то нельзя исключить и параллели, основанные на творческом заимствовании или свойственном веку ощущении общего стиля.

В большинстве случаев жизнь Петера Бирона и его потомков после оставления ими Курземе описывается, главным образом, в аспектах человеческого и исторического. Но не менее интересным могло бы оказаться изучение и культурно-исторических ценностей, обнаруживающих самые непредсказуемые связи, документальных свидетельств и фактов, высветляющих малоизвестные имена. На этот раз подвергнутые интерпретации новооткрытые материалы подтверждают лишь ту основную истину, что документы, давno уже причисленные к пропавшим, могут отыскаться через несколько десятилетий, даже веков, притом — совершенно неожиданно. А в качестве успокаивающего пусть послужит тот факт, что труд Витрувия «De Architectura» пусть через полторы тысячи лет, но все же нашелся.

¹ Цитаты с описаниями дворца в Ратиборже взяты из автобиографического рассказа «Бабушка», написанного чешской писательницей Боженой Немцовой (1820—1862 гг.). Рассказ написан в 1855 году. Детализация представляется весьма достоверной, поскольку родители писательницы служили в имении.

² Menclova D. Ceske hrady. I. Praha, 1972, str. 139—140.

³ Wirth Z. Soupis Pamatek Historickych a umeleckych v politickem okresu Nachodskem. Vpravef, 1910, стр. 52—115.

⁴ Patrak B. Das herzogliche Shloss in Sagan — «Belvedere» — Monofsschr. für Sammler u. Kungtfreunde. Zürich — Leipzig — Wiem, 1930, стр. 133.

⁵ Kalinowski K. Architektura doby baroku na Slasku. Warszawa, 1977.

⁶ Kutrner M. Studium historyczno-architektoniczne barokowego palacu W. Zaganiu. PKZ. Wroclaw, 1958.

⁷ Отдел редких книг и рукописей Латвийской госбиблиотеки им. В. Лациса, Фонд RX 112, 4, 44—56.

⁸ Weber R. Schlesische Schlösser. Dresden, 1909—1911, т. 1, стр. 31.

⁹ Луджи Римондини (подписывался и как Ремондини) — художник из Болоньи, связан с кругом М. Бачарелли. С 1975 года придворный художник Петера Бирона в Сагане. Сотрудничал с архитектором К. В. Шульцем. Ему приписывается исполнение эскизов интерьеров театрального зала, сцены, картинной галереи и библиотеки в Курземском крыле Саганского дворца. Писал и гостей герцога. Умер в Сагане в 1831 году.

¹⁰ Иоганн Готлоб Феллер — саганский архитектор и мастер-каменщик, в 1774—1783 году работал на постройке монастыря в Грисау, в 1774—1790 гг. по его проекту строится монастырь в Кжешове (Krzewow), постройка монастыря августинцев в Сагане.

¹¹ Patrak B. Op. cit., стр. 133.

¹² Проект триумфальной арки находится в Отделе редких книг и рукописей библиотеки им. В. Лациса: I W—5/II. Проект подписан «Remondini».

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ПОЧЕМУ Я НЕ ИНТЕЛЛИГЕНТ?

Интеллигенция теперь не сословие, а состояние.

С. Булгаков

Вот от эпитафии и оттолкнемся: состояния не линейны, не стабильны и для одного человека, привести же их — в мыслях о некотором конкретном — в согласии для группы людей представляется просто невозможным; возникает предположение, что это общее состояние является изначально не усредненным даже, но общим — свойственным лишь сразу всей группе, не разделяемым поврозь; стабильно которое, как стабильно броуновское движение. Или, может быть, просто сумма всех его определений, мнений и предположений о нем.

Зафиксировать состояния словесно — всегда входит в конфликт с его сутью, упрощая ее и искажая. (Но другого варианта нет: исчезновение сословия подтверждено его превращением в «прослойку» — не о той же рассуждать.) Что поделать, сословия нет, отдельной интеллигентской земли тоже нет, форму они не носят, одинаково себя ведут не всегда. Остается описывать отдельные приметы, признаки, особенности — в расчете единственно на то, что изложение своим ходом сойдется к некоей определенности.

Итак, о сословности речи нет. Не следует говорить и о степени образования, поскольку решено и установлено, что высшее образование, например, вовсе не гарантирует качество «быть интеллигентом». Обратное, регулярно приводятся примеры интеллигентов с незавершенным средним — из рабочих, колхозников и иной раз (сообщающие об этом всегда почему-то несколько изумлены) даже спортсменов.

Должен ли интеллигент быть умным? Вопрос этот вполне шекотлив, лучше его обойти, отметив, что отвечать на него вовсе не обязательно, поскольку умный человек интеллигентом, опять-таки, может и не являться (напр., он может оказаться мерзавцем). Что же, вот и первый признак: интеллигент — заведомо не мерзавец. Он, очевидно, должен быть человеком хорошим. С другой стороны — ну что такое хороший? Который не склонен подкладывать свиней ближнему? Если так, то это просто человек, «который не склонен подкладывать ближнему свинью». Каждое из подобных мнений-требований открывает класс людей, соответствующее требование выполняющих: мы пробуксовываем (тем более что, бывает, и интеллигенты вынуждены подложить свинью, и даже ближнему).

Нельзя вроде бы говорить и о конкретной профессиональной принадлежности — в связи с вышеупомянутым интеллигентным колхозником (интересно, впрочем, насколько поощренным чувствует себя этот колхозник, явно, видимо, не дурак? И насколько интеллигент — таким манером соотносе крестьянина с собой — чувствует себя поощренным оно?).

Зато можно выделить ряд профессий, принадлежность к которым автоматически устраняет возможность быть интеллигентом: это представители т. наз. «творческой интеллигенции», поскольку внутри подобных профессий (да и только ли подобных?) оценки весьма суровы, и, допустим, графомана из милосердия терпеть там не будут.

Интеллигент, скажем, должен быть человеком вежливым. Но вежливый человек — это просто человек вежливый, и зачем изобретать новый термин. Интеллигент должен быть человеком культурным, обычно — видимо, на всякий случай — добавляется, что человеком внутренней культуры. Опять то же самое. (Кстати, отметим, что вежливость внутри данного государства — единственного, как это уже знает весь мир, в мире, давшего миру понятие «интеллигент», носит отчасти характер фронды по отношению к самому государству, она с оттенком «несмотря на...», а распространенная форма упрека: «Вы же интеллигентный человек?!» — заставляет сомневаться в самом термине.)

Таких признаков можно найти много, что же, дело в их единственной и устойчивой комбинации? Т. е. интеллигент — это человек, который: а) добр, б) не обязательно образован, в) может быть умнее, г) вежлив, д) культурен (внутренне), е) совестлив? Но устройство этого отчасти теоретико-множественного пересечения

открывает возможности для появления новых устойчивых терминов, соответствующих иным вариантам пересечения: почему бы, скажем, не образоваться стойкому классу людей, выполняющих все предъявляемые к интеллигентам требования, кроме, быть может, первого? Т. е. злые, не обязательно образованные, совестливые, вежливые, внутренне культурные и т. д.

Разумеется, сей механицизм явно неуместен, и все проблемы самоопределения полностью снимаются личным ощущением причастности. Интеллигент — человек, считающий себя таковым. Вопросы определения его не волнуют, а если и волнуют, то уже в качестве проблем, и — проблем интеллигента. Заботиться об определениях приходится мне (см. заголовок): это чтобы не принадлежать к чему-то, нужно точно знать — к чему именно ты не принадлежишь.

Здесь, будь я человеком из этого, сконструированного класса (псевдоинтеллигентов злых — назовем его так), я не преминул бы вставить, что в таком случае «интеллигент» является каким-то перламутровым словом, джокером, в любом конкретном случае означаящим нечто однозначное, необходимое контексту («Интеллигенция всей страны, тра-та-тата!», «Есть русская интеллигенция! Вы думали — нет? Есть!», «Но вы же интеллигентный человек»), а способность его породить класс людей обеспечена тем только, что в сомнительных обстоятельствах нашей жизни оно позволяет человеку избежать остаться бесхозным.

Но я не злобен и искренне хочу разобраться. Безусловно, реальное, разделяемое состояние, пусть даже и не снабженное внятными признаками. Их отсутствие, конечно же, лишь свидетельство серьезности самого термина. Личное причисление себя к интеллигентам, безусловно, без серьезных оснований не производится.

Сейчас несколько вполне расхожих словосочетаний (авторов как бы не могущих иметь в принципе). «Интеллигент — это прежде всего личность». «Видные представители интеллигенции». «Властитель умов и душ интеллигенции». «Имярек — выразитель взглядов интеллигенции». В общем, интеллигент в той или иной степени равняется на некоторого интеллигента, выбираемого самой интеллигенцией, ее общественным мнением, в качестве, что ли, эталона — но отметим, человека из ряда интеллигентов, его «правофлангового» («левофлангового», точнее). Такой эталон, почти идеал, в принципе достижим, при этом он является человеком, максимально отвечающим самому понятию «интеллигент». Это очень интересно: «интеллигент спектрально чистый» — это вовсе не интеллигент среднеарифметический, напротив — именно лидер. Единственно, здесь что-то не в порядке с личностями, хотя бы сам факт возможности существования подобного духовного лидера.

Заметим, человек реально верующий интеллигентом быть не может — в качестве эталона для него выступает лицо, к его ряду не принадлежащее. Верующий будет просто, например, христианином. То же, в другом варианте, относится и к «творческой интеллигенции». Последняя, впрочем, иллюзий на свой счет не строит: принадлежа к оной, не могу вспомнить случая, чтобы ее представители (во всяком случае — моего поколения и моложе) осуществляли разборки со словами «А. Б. — настоящий интеллигент», «В. Г. — человек не интеллигентный». Термин не в ходу не по причине групповой стеснительности, есть в этом не-угодности какой-то от воннегутовского (кажется) негра, ответившего на вопрос какой-то случайной леди о том, не каталик ли он, что-то вроде: «нет, мэм, с меня хватает, что я черномозгий». С меня, во всяком случае, хватает, что я литератор.

Да и как там кому поможешь? Текст ему, что ли, допишешь? Да и как, вообще говоря, можно всерьез помочь другому? Если интеллигенты это умеют — видимо, они обладают способностью в считанные минуты прожить жизнь другого человека. Если речь идет о милосердии — приняв во внимание, что слово «интеллигент» в ходу только в России, — иные земли милосердия не знают

и доселе. Если же речь идет о том, чтобы понять текущую надобу человека, то с этим вполне справляются и фарцовщики. Зачем нужен иной, специальный термин помимо общежитийских милосердия и порядочности? Разве что в качестве реакции на местные условия жизни (ну не принято в Штатах регулярно стрелять пятерку до полочки, а у нас принято — так, значит, поэтому в России есть такое понятие «интеллигенция»?). Может быть, это умение ставить себя на место собеседника? Ну да, и Карнеги сие настоятельно рекомендует (лет десять назад, кстати, интеллигенция штудировала эту книжку с большим энтузиазмом).

Общность, безусловно, реальна. Какая? Нет общности жизни внутри класса — с точек зрения имущественной и профессиональной, имея в виду и разнообразие сопутствующих образов жизни, расслоение среди интеллигенции наиболее разнообразно. Не следует упускать из виду и прямого генезиса из этой нелепой «прослойки»; интеллигенция — хотя и звучит это неприятно — имеет в себе гораздо больше общего с термином, предложенным ей государством (если вспомнить «рабоче-крестьянскую интеллигенцию»), нежели с былым сословием. И нельзя устранить и вариант некоторого юродства, вызова — в принятии уничижительной, в сущности, клички (после все этих «гнилых интеллигентов» и самого «прослоечного» места в обществе уничижительность явно не отсутствует), в принятии его с гордостью, как в свое время поступили гезы.

Общность предания? Какого? Профессиональное передается только коллегам. Родовое — близким. Компанейское живет в компании. Общественное, связанное с государством? Вот это уже весьма серьезно. Преемственность временная. Культуры, истории. Но преемственность или ощущение должностности этой преемственности? Ведь если говорить о «среднем» интеллигенте — некоторой реальной «среднеарифметичности» его качеств и знаний, — то возможность ощутить преемственность культуры сомнительна: он ведь не то же самое, что человек образованный, культурный. Преемственность исторической судьбы? Но слишком много пробелов в памяти, чтобы ощутить эту преемственность реально (а тогда бы, скорее всего, интеллигенция вновь стала бы сословием — с неминуемым изменением места этого сословия в государстве).

По поводу места сословия в государстве: любой, кто прочитал книгу, написанную в России до 17-го года, уже не может жить, полностью совпадая с государством «после 17-го», — живет он уже в некоторой раздвоенности (что, возможно, состояние интеллигенции и характеризует наиболее точно): язык тот же, земля та же, структуры — совершенно другие. Поэтому, отметим, вполне разумны старания литературоведов определенного толка отыскать в дореволюционных произведениях предвосхищения новой жизни — заботясь, собственно, не об оных, но желая в формах тогдашней жизни типологически выделить отношения, обуревающие общество после 17-го. Примиришь, вязать ту литературу в малоприспособную, в сущности, для нее государственную среду.

Небольшое отступление, связанное с возможным описанием интеллигенции в художественной прозе. Очевидно, подобное описание возможно, так, напр., «городская проза» занимается в основном именно этим. Интеллигент в художественном тексте фиксируем. С другой стороны — текст, подобный, например, данному, внутри художественного произведения помещен быть не может. Таким образом, любой человек, хоть раз в жизни написавший статью любого рода, из интеллигентов выбывает автоматически: эта весьма, надо полагать, существенная сторона его жизни выходит за пределы явлений, которые могут быть усвоены художественным текстом. (Если только, конечно, не принять весьма сомнительное допущение, заключающееся в том, что как только человек берется за дело, он из интеллигентов временно выбывает.) Это, конечно, такой смешной момент.

Не смешно другое. Обычно полагается, что интеллигенция наиболее чутка к культурным процессам, к искусству — даже более чутка, нежели авторы — со стороны-де виднее. Но вот столь повсеместно принятый интеллигентий Мандельштам. Девяносто пять процентов публикаций и разговоров о нем речь поведут о его противостоянии злему духу искаженного социализма, о трагедии поэта в тоталитарном государстве, о последней дуэли Мандельштама, о его бытовой неустроенности, о Мандельштаме на Кавказе, в солдатах, о мученическом венце. Остальные пять процентов — о его герметичности, будут растолковываться его отдельные строчки с точек зрения постфрейдизма и неозленизма, хотя уже больше полвека мы просто в другой литературе, как после Пушкина, и никакого растолковывания не требуется — как написано, так и есть.

И, говоря о преемственности исторической, возможным кажется лишь единственное единство — сознания, обусловленного положением внутри государства. («Есть русская интеллигенция! Вы думали — нет? Есть. Не масса индифферентная, а совесть страны и честь» — умом, надо полагать, автор интеллигенцию надеяется само собой, то есть мы — войдя в нее с черного хода — оказались

в формуле «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи»: сущности сходятся в своих атрибутах и, получается, конгруэнтны. Весьма характерен сам ход строчки: сразу же противопоставиться «им» (без которых, словно, интеллигенция и существовать-то не могла бы) и отнять у «них» права на ум, честь и совесть.) И так, Россия единственное место на свете, где такое понятие существует.

Чем Россия такая особенная? Много, разумеется, чем. Вот тем, например, что ее язык (может быть, интеллигент — тот, кто хорошо владеет языком? Ох . . .) государственно существует лишь в единственном государстве. Культура — в одном государстве. Предлагаю мысленный эксперимент: представить теперешнюю Россию в качестве самостоятельной части света, наподобие Латинской Америки, испаноязычной повсеместно, многогосударственной: как вы полагаете, в существующей подобным образом русской культуре возникло бы понятие интеллигенции? При том, разумеется, что представители отдельных русскоязычных культур общность между собой бы ощущали? Впрочем, можно сказать, что Россия в некотором роде и является Южно-Американским вариантом — принимая во внимание различный возраст России, Россию составляющих — от тысячелетней до семидесятидвухлетней. Интеллигенция в этом случае может быть соотнесена с Россией стотридцатилетней.

Может быть, это и так, но все равно — повлечь за собой рациональное осознание своего места интеллигентом мысль о подобном соотношении не сможет. Слишком уж с тех пор все изменилось, какие нынче хождения в народ . . . (И, наверное, надо отметить неприменимость подпольнослабодного термина «пассионаризм» к интеллигенции — следует признать, что за прошедшие семьдесят лет — в целом — пассионариями могли быть кто угодно, только не интеллигенты. Хотя термин здесь и оборачивается трагикомической стороной: сколько не-пассионариев требуется, чтобы одолеть одного пассионария?)

Общее, разделяемое сознание. Разделяемые отношения к жизни, к отдельным ее повседневностям, к вещам принципиальным. Некий разделяемый модуль сознания интеллигенции. Разделяемое сознание вовсе не обязано полностью узурпировать личное сознание интеллигента, но входит в последнее на правах держателя контрольного пакета акций, либо овладевает почтой, телеграфом, телефоном, мостами, банками и вокзалами сознания индивидуального. И это вовсе не единомыслие. И, как правило, не единодушие. Но, однако, не возникает и соборность разделенного сознания: напротив, разделенное сознание склонно забирать под свой — якобы — контроль вещи тривиальные: ведь человек — грубо говоря — не хихаёт на других вовсе не потому, что он интеллигент, а потому только, что поступать так — неправильно. Кроме того, оно склонно кооптировать в себя и «le sens obvie» — «смысл, естественно открывающийся духу»: мнения, возникающие в человеке естественным образом, присущие ему как индивидуальности, возводятся в ранг качеств, присущих именно интеллигенции как классу. Например: чувство собственного достоинства, чувство справедливости, право на несогласие.

Но самая большая неприятность разделяемого сознания связана с тем, что Башляр называл «ночным человеком». Т. е. человеком, имеющим дело с интуицией, личными — за пределами причинно-следственно обусловленных — отношениями с самим собой, с сознанием художественным — по преимуществу «ночным». Разделяемое же сознание может быть только «дневным». И беда здесь не в том, что столь существенная составляющая человека уходит из рассмотрения, как раз наоборот — разделяемое сознание не может позволить себе просто проигнорировать сознание «ночное», оно формирует внутри себя и — разделяемое же! — отношение к нему: к тому, что наиболее индивидуально для каждого. (Вспомним, насколько схожи все варианты экскурсов интеллигентов в области ночного сознания — происходи они под предводительством Блаватской, Сузуки или кикого-нибудь англичанина Рамачараки, в любом случае они имеют дело не с различными методиками и системами, но с разделяемым, «дневным» мнением по поводу того, что такое индивидуальное сознание в его «ночном» варианте, с какой-то общепитовой мистикой, в каковую, впрочем, для многих превратилось я, казалось бы, изначально присущее им христианство.) Интеллигенты, по сути, и являются родом секуляризованных в рамках конкретной государственности христиан.

И по поводу секуляризации. Существует крайне серьезное противоречие между языком и государственной структурой: русский язык по своему развитию, гибкости, насыщенности, степени организации, наконец, превосходит структуры государственных минимум на три порядка (если по государству вывести язык, то все предложения последнего имели бы один вид: подлежащее, сказуемое (глагол в неопределенной форме), а дальше — что угодно через запятую). Возможно, интеллигенция как раз и является тем, что предпринимает тщетную попытку заполнить прогал и осуществить видимость связи между Советским государством и русским языком.

BEARDSLEY... CRAZY



Aubrey Beardsley

ОБРИ БЕРДСЛИ — лишь двадцать шесть лет вызывающей одаренности и обреченности. Беспощадно близки одна к другой вехи: 21 августа 1872 года и 16 марта 1898.

Видимо, он ощущал относительность понятий века долгого и короткого, поэтому и старался реализовать себя в мире, в котором реальность и воображение слились в одно. Не станем требовать от художника, чье восприятие мира настолько субъективно, символично, интуитивно, материалистического отношения при переводе запутанных отношений между людьми в художественные образы. Нет, его искусство вовсе не классовое, не крестьянское оно, не пролетарское, не интеллигентское. Оно о том, как жить и остаться художником, активной духовной силой в жизни, в которой нет времени быть «просто человеком». Одна латышская прозаиня утверждала, что **ВРЕМЯ НЕ АРГУМЕНТ**. Возможно, для нее это и так. Правоту же О. Бердсли подтвердил и аргументировал сам ход времени.

Детство. Провинциальный английский городок Брайтон. Бердсли — семья среднего достатка, после ранней смерти своего кормильца вынужденная скорректировать свое положение в обществе. Учиться надо было самостоятельно (что Обри делал по доброй воле, охотно); работать пришлось начать рано (и Обри делал это без комплексов). Среда, в которой он формировался, была противоречива. Он, необычайно застенчивый и в то же время — чувствительный; слепо любящие его женщины (мать и сестра), их нежная готовность к самопожертвованию и, как следствие, убаюкивающая ум эмоциональная стерильность. Его отношение к женщине, к женскому как к художественному образу очень разное. Иногда женщина — самостоятельный образ, основное содержание всей композиции, фигуру женщины тогда образует линия с конкретной эмоциональной нагрузкой — восхищения, удивления, уважения, мольбы.

В другой раз это только декора-

тивная форма, там лишь бесстрашие, холодная рассудочность и цинизм. Ему не доставало брутальной и горьковатой мужской нежности, созданным им образами мужчин (если там вообще можно говорить о поле) не хватает энергии воодушевления. Мужское открывается в его рисунках эмоциональной опустошенностью, в себе обманувшимся Пьеро. Есть люди, не умеющие скрываться за масками, — таких зовут плохими; есть люди светские. О. Бердсли был прекрасным актером, но, желая скрыть свою нежность, незащищенность, он не осознавал, что именно эта наигранная живость и делала его уязвимым.

Обри был необыкновенно одарен. Первой из муз его поцеловала музыка. Около 1883 года его называли в обществе «*Infant musical rhapsodist*» — тогда он концертировал со своей сестрой Мейбл. Музыка дала О. Бердсли многое. Приучила к публике, разбудила желание быть постоянно в сфере внимания общества, обогатила и усилила его интел-



лект, расширила душу способностью ощутить переживания другого человека.

Обри любил историю, вкладывая в это слово чрезвычайно широкие пласты духовной деятельности — античную культуру, древние языки, средневековую литературу, историю искусств, французскую литературу Нового времени и многое другое. Именно история побудила его рисовать. Ему доставляло удовольствие воскрешать на бумаге прошедшие события, обозревать поступки исторических персонажей, умело переводя в рисунок импульсы, которые поставило воображение. Рисунки были реалистичными, без малейшей иронии.

Интеллектуальные способности активизировали его работу по самоусовершенствованию. Лениность духа вызывала у Обри чувство отвращения. В 1888 году Обри бросает гимназию, та ему надоела, утомляет и не интересует: поскольку, по высказываниям современников, уже к тому времени он был одним из наиболее образованных людей в разнообразных сферах духовной деятельности. И в литературе в том числе. В нескольких томах собраны его письма друзьям, высказывания, афоризмы — вполне жемчужинами прозы. В тщательно хранимых блокнотах — записи, предполагающие использование в последующих сочинениях: в рассказах, новеллах, романах... Но те «не выписались». Единственная его законченная проза «Легенда о Венере и Тангейзере»

опубликована в журнале «The Savoy» в 1907 году.

Искусству в тихих залах музеев его обучали мастера Ренессанса (Микеланджело, Дюрер), символисты (Моро, Пьюи да Шаван), прерафаэлиты (Данте Габриэль Россетти, Эдвард Берн-Джонс). Кратким эпизодом следует увлечение японским искусством, но это лишь эпизод, и следует отметить, что говорить о воздействии на Бердсли японского искусства, его стилистики можно лишь весьма условно. Надо подумать, чего тут больше. Или художник действительно перенимал, творчески развивая, отдельные приемы японских рисовальщиков, либо наоборот — в своем профессиональном развитии О. Бердсли интуитивно пришел к схожему способу разработки художественного образа. Трудно сказать, чего тут больше — японское искусство как образец либо всего лишь подтверждение тому, что найденные способ и стилистика рисунка художественно эффективны.

Академическое образование О. Бердсли было, кажется, не под силу. И из-за болезни, и по импульсивности его натуры, да и попросту по нежеланию — из-за стремительности времени — подвергать себя долговременному, систематическому изучению ремесла. Целый год рисовать одного гипсового монстра, следующий год — следующего... нет, только не это. Лучше учиться на работах близких художников, шаг за шагом проследить взаимоотношения эмоций,

смену ритмов и линий, определяя для себя — перенять или отвергнуть.

Есть много личностей, чей духовный мир ему близок, чей манере рисовать он доверяет, неосознанно подчиняя себя стилю мышления этих художников. Первой заочной учительницей Бердсли была популярная иллюстратор Кэт Гринвей. В детстве, даря на память открытки, он перерисовывал композиции художницы, использовал созданные ею образы. Важным для него оказалось лето 1891 года, когда он познакомился с Эдвардом Берн-Джонсом. Тот с благосклонностью оценил представленные ему рисунки, но все же порекомендовал Бердсли поступить в Вестминстерскую Школу искусств. Бердсли послушался совета, но Школу не окончил. Он предпочел неустанный ежедневный труд с его конкретным результатом, который могли признать, могли хвалить и высмеивать — но все же видеть и оценивать.

Туберкулез угрожает жизни Бердсли уже с семи лет, и это одна из причин частой перемены мест его пребывания — Брайтон, Ипсом, Лондон, Брюссель и... Ментона. Театр и музыка — последнее, что может успокоить больного Обри. В музыке его пристрастия — Р. Вагнер и М. Вебер. Да и театр, по сути дела, был отчаянной попыткой сохранить о себе впечатление здорового и жизнерадостного человека. Иной раз ему и самого себя удавалось убедить в реальности иллюзии, созданной им же самим.



Но лишь до скорого сумеречного приступа отчаяния. Свет обрести он пытается с помощью религиозного мистицизма. В конце жизни он даже переходит в католицизм и пишет друзьям: «Je suis catholique». Религиозная тематика и атрибутика, впрочем, не новинка в его жизни. Автобиографические сведения из писем свидетельствуют о том, что религиозным Обри был уже в детстве — описывая свои ночные видения, он часто упоминает образ распятого. Есть и рисунок «Поцелуй Иуды». Но, скорее всего, и это по-человечески трагично, что желание жить не иссякло и вера служила по-

следней надеждой. Вот фраза из какого-то письма: «Я совершенно убежден, что перемена продлит мои дни» (письмо марта 1897 года, после перехода в католичество). Но Господь не желал отсрочить его превращение в легенду.

Чудо-ребенок Обри художником стал самостоятельно, он был автодидакт, самоучка, сумевший создать устойчивый и нюансированный индивидуальный стиль. В выборе формы он был экстравагантен и... эклектичен. Заметно влияние росписей античных греческих ваз, увлечения японской графикой, изощренным французским

рококо, идеализмом символистов, духовной чувственностью прерафаэлитов. О. Бердсли обнаружил отличимые от академических стиль мышления и способы исповедывания эмоциональных переживаний в рисунке и композиции. Эстет формы — безразлично, какими средствами та образуется: линией, словом, движением, поведением. Рисунки пером легкие, игривы; линии плавные; композиции контрастные — черное против белого, плотность орнамента против насыщенных «пустых» полей; гротескные пропорции людей, нескрываемая ирония. По мере развития болезни О. Бердсли становился все более безжалостным, циничным, высокомерным в отношениях с людьми. Это можно понять, но страдали и рожденные его воображением персонажи, например Саломея, столь не отвечающая своему литературному прототипу у О. Уайльда. У Уайльда библейская Саломея как «тень белой розы в серебряном зеркале», Саломея же Бердсли — модная дамочка того времени, осмеянию в которой подлежат мнимая порядочность английского общества и притворное послушание. «Саломея в черном пеньюаре» свободна, но и манерна и вызывающа.

Сарказм не был темой О. Бердсли. Это было отчаяние, вызов неотвратимости, здесь же и уничижительность по отношению к денежному салонному обществу, которому, в свою очередь, была глубоко чужда мученическая каждодневность художника. Но в искусстве все менялось — там О. Бердсли становился свободным. Я верю, что в глубине своей он любил всех, с пренебрежением не относясь ни к кому.

Сложная личность — блестящий театр индивидуализма в аристократических салонах и, в то же время, одинокое пламя свечи усиливающегося мистицизма. Кажущееся высокомерие. Лишь ближайшие друзья, тоже, впрочем, удерживаемые на отдалении, понимали и принимали его противоречия. Потенциальных друзей было много, многие искали возможностей сближения. Можно упомянуть Роберта Росса (литератор, знаток искусств, друг О. Уайльда, автор первой монографии о Бердсли). Р. Росс рассказывает, что О. Бердсли был застенчивым, необычайно нервным, замкнутым в себе молодым человеком, которому еще не были свойственны интеллектуальная самоуверенность и пренебрежительность, столь развившиеся в нем впоследствии. Он принес рисунки, на которые Р. Росс поначалу не обратил внимания, настолько его захватила странная и очаровывающая оригинальность самого автора. В этом лице было что-то необычное, и все же ему была присуща высокая простота.

Эксцентризмом был знаменем О. Бердсли, показное охраняло его истинную простоту. В обществе им восхищались, очарованные им следили за каждым его шагом. Так, например, в знаменитом журнале «The Savoy», в первом номере, можно было узнать мнение другого литератора, Артура Симонса. Бердсли, подобно тени, проскользнул в зал, лишь большой портфель золотистой кожи, казалось, высвечивал его путь к столу. Положил портфель на стол, худощавые руки его открыли, сухие пальцы извлекли лис-



ты прекрасной белой бумаги в красную линовку. Мгновение сидит, пишет — пара строчек отточенных каламбуров, набрасывает силуэт декоративной свечи, просвечивает плавную чувственную линию. Руки опять делают свое, и Бердсли оставляет высокопоставленное общество в полном оцепенении.

Его жизнь и искусство — реальность и сон одновременно; смелый, оформленный интеллектом взгляд на окружающий мир и изощренная фантазия абсурда. Возможно, рожденное его воображением, созданное умелыми руками Бердсли казалось ирреальным, вызывающим, даже скандальным, но — для культурной среды и современников художника. Мы видим иначе, для нас он зачинатель графики двадцатого века.

По отношению к изобразительному искусству Бердсли остался в позиции как бы стороннего наблюдателя, поскольку себя считал в первую очередь крупным литератором, затем же — знатоком театра. Рисование было трудом в повседневном смысле этого слова. Вместе с тем становится понятнее, почему он обращался к журнальной и книжной графике и реже к композициям, не имеющим прямой связи с литературой. Дружил с писателями-символистами, да и собственные философские взгляды О. Бердсли отвечали символистскому идеализму, мистицизму. Влекли за собой субъективизацию образа и индивидуализацию художественного

почерка. Не раскрыв себя в литературе, но полагая ее главной сферой приложения своих духовных сил, Бердсли пришел к компромиссу — к книжной графике, к иллюстрированию символистских произведений. Одним из первых известных циклов иллюстраций Бердсли является «Легенды о короле Артуре», изданию которого способствовал меценат и издатель Фредерик Эванс.

Обри Бердсли из художников, которые к иллюстрированию привлекают и интеллектуальное внимание, открывая при этом богатые возможности изобразительности. Книга — «музей слова», Бердсли не допускал мысли, что художнику достаточно лишь эффектно декорировать книгу с тем, чтобы продать ее по возможно более высокой цене. Конечно, прекрасное создание должно быть и украшено изысканно, но украшение не может сделаться первичным. Этим он отличен от знаменитого в то время В. Морриса, создавшего декоративную концепцию прикладного искусства и применявшего ее с неизменным успехом. Следует отметить, что с Моррисом долгие годы сотрудничал Берн-Джонс, создавая эскизы для витражей, гобеленов и книжных иллюстраций. Бердсли же пришел с новым пониманием отношений литературного источника, иллюстраций и орнамента. Художественное оформление книги двухчленно — реалистическая, внешняя, даже чуточку показная сторона, это — декорация: виньетки, инициалы, орнаментальные

завитки, сплетения цветов, создаваемый ими пышный фон — одна линия вырастает в другую, образуя плотное, насыщенное поле восточного типа. Обложка, титул, тон бумаги, гарнитура набора — продумывается каждая деталь, никакая приблизительность недопустима.

Вторая, философская, или... духовная сторона. О. Бердсли был читателем внимательным и наблюдательным, персонажи романов, стихов, драм, пьес и т. д. воспринимались им как ему подобные, некие идеальные обитатели мира. Художник работал только с идеями, эмоциями, страстями, настроениями литературного произведения — разумеется, если это ему нравилось и увлекало, — часто дополняя их и своими ощущениями. Я признаю подобный подход, но понимаю и О. Уайльда, сердившегося на Бердсли из-за своей «Саломей». Как бы то ни было, устойчивый интерес Бердсли к книжной графике значим уже и тем, что в нем отсутствовало инертное отношение популярного художника к культурно-вещественной ценности — книге. Литературные интересы О. Бердсли обширны — Аристофан, Ювенал, французы — О. Бальзак, Г. Флобер, А. Дюма-сын, конечно, англичане — Э. По, А. Поп, символисты — А. Симмонс и другие.

Свои качества выдающегося декоратора он демонстрирует в знаменитых символистских и модернистских изданиях, принеся ему попу-



лярность и материальное благополучие. В 1893 году выходит первый номер журнала «The Studio», в 1894 году три издания: «Jellow book», затем, в 1895-м, — «The Savoy», чьим художественным редактором является Бердсли, он же и автор названия. «The Savoy» стал обителью для его духа — здесь воплотились многие литературные замыслы, оформилось понимание ремесла, развилось техническое мастерство. Рисунок пером и тушью в совершенстве своем почти что и неисправляем. Технику можно было бы и не упоминать, она, в сущности, ничем не лучше и не хуже любой другой. Но важно отметить, в какой высокой степени она подчинена Бердсли, освобождая волю художника. Первые наброски Бердсли делал карандашом, стирал линии, проводил заново — пока не выяснялась общая композиционная идея. Выравнивались отношения белых и черных полей, акцентировались фигуры, тщательно подбирались детали — декоративные арабески, мотивы павлиньего пера, силуэты горящих свечей, странно распустившие цветы, скрытые маски лица. Элементы подобраны как бы бессознательно, но целенаправленно — чтобы привести в смущение, создать беспокойство, породить предчувствия, видения; композиции все же стабильны, статичность акцентирует параллелизм доминирующих линий. После этого в пальцы Бердсли ложится золотое перо, и управляемая железным интеллектом рука про-

водит тушью черные линии, иногда — без оттенка мягкотелости — игнорируя предварительное соглашение.

О. Бердсли создал свой идеал красоты. Впрочем, его идеал «новой красоты» далеко искать не придется, это все тот же прерафаэлитизм, конкретно — Э. Берн-Джонс. У него Бердсли заимствовал сюжеты, жесты, тип лица, мимику. Да и эмоциональный настрой образов схож — приглушенный драматизм, графическая живописность, романтическая чувственность. У Бердсли была и своя теория о том, что всякий художник в творчестве в той или иной степени реализует свой физический тип. Вспатриваясь в его героев и героинь, приходишь ко вполне однозначному представлению о модели: маленькая головка с пышной волной волос, гибкое тело. Или в варианте выражено плотском — раздутое тело, вызывающее ощущения противоположного рода. Лица, обычно решенные в профиль — маленький вздернутый носик, довольно полный подбородок, мрачный взгляд, обращенный куда-то в сторону. В общем, весьма странная красота, говорящая об ироническом, насмешливом отношении художника к окружающим. Здесь он отличается от прерафаэлитов, созданный теми идеал красоты был возвышенным и физически и духовно, меланхоличным, они верили своим героям. Образы, созданные Бердсли, всегда в состоянии какого-то выбора, без малейшей уверенности в своих действиях.

Неверие в возможную реально, реализующуюся каждым днем жизнь человека телесного и разочарование во внешнем существовании в качестве экстравагантного и блестящего денди заставили ретроспективного мечтателя иронизировать над любовью. Нет, его не ждала судьба Дориана Грея, его стиль жизни не мог стать стилем жизни Бердсли, который — в свою очередь — был аристократическим, интеллектуальным, эстетическим, творческим, но — без душевной гармонии — одноким в чувствах. Комплексы, вызванные его духовной аритмией, проявляются в его эротических фантазиях. Эротика как сюжет для реализации художественного намерения не лучше и не хуже других тем, важно, что за идеи рождают образы — один странней другого. В наслаждении созидания Бердсли не апеллировал к Эроту, дабы компенсировать чувственные переживания, здесь наиболее отчетливо проявляется его мистическое стремление к вечному духовному существованию в искусстве.

«... Истинно, на Небеса и только на Небеса я препровожу тебя». И Человек воскликнул: «Ты не сможешь!» И Бог спросил Человека: «Почему и по какой причине я не могу поместить тебя на Небеса?»

«Потому что никогда и нигде я не был в силах их представить себе».

И тишина объяла Дом Суда...»

(Оскар Уайльд)

Ирина Борисовна Ратушинская родилась в Одессе в 1954 году. В 1976 году она окончила физико-математический факультет Одесского университета. В студенческие годы Ратушинская пишет сатирические пьесы для студенческого театра КВН. Сатира оказалась «искажением советской действительности», и КВН запрещают. По окончании университета Ирина преподает физику и математику в школе и одновременно читает лекции в Одесском пединституте. Во время работы в приемной комиссии института она сталкивается с дискриминацией евреев и возражает против ограничения их приема. Должность Ирины сокращают. В 1979 году Ирина выходит замуж за друга детства Игоря Геращенко, человека духовно близкого, и уезжает в Киев. Оба перебиваются случайными заработками, так как не могут найти постоянную работу. В 1980 году супруги устанавливают связь с правозащитной группой А. Д. Сахарова и активно включаются в дело. Весной следующего года они получают предупреждение от киевского КГБ, Игоря увольняют с работы. Как-то, возвратившись домой, супруги почувствовали, что в квартире разбрызгана какая-то жидкость, вызвавшая легкое отравление: в их отсутствие в доме был произведен обыск. 17 октября 1982 года Ирину арестовывают. Сотрудники Украинского КГБ, слывшего самым жестоким в Союзе, ухитрились надеть наручники на тонкие руки поэтессы.

5 марта 1983 года состоялся суд. Приговор — 7 лет исправительно-трудовой колонии строгого режима плюс 5 лет ссылки. Все это за правозащитную деятельность и стихотворение «Родина», написанное еще в 1977 году. В конце апреля Ирина прибывает в Мордовию, пос. Барашево, учреждение ЖХ-385/3-4. Малая зона. Здесь, в лагере строгого режима для особо опасных политических преступниц, я познакомилась с Ириной. Это было в конце октября знаменитого ареста 1983 года. Кроме Ирины моими соузницами были Татьяна Осипова (правозащитница из Москвы), Раиса Руденко (за стихи мужа) и Ольга Хейко-Матусевич (литературная пропаганда и агитация) с Украины, Галина Кохан-Барац (за то, что уверовала в Бога, будучи преподавателем Московского университета), литовки Ядвига Беляускаене (католичка, учила детей в воскресной школе) и Эдита Абришене (хотела эмигрировать), Лагле Парек (защита прав человека и антисоветская пропаганда) из Эстонии, Наталья Лазарева (женское движение, иллюстрировала журнал «Мария») из Ленинграда.

На 48-м международном конгрессе ПЕН клуба в Нью-Йорке была принята резолюция с ходатайством перед советским правительством об освобождении Ирины. На Филиппинах за ее освобождение борется журналистка и поэтесса Мила Агуилар, Артур Миллер и Василий Аксенов участвуют в пресс-конференции в защиту Ирины. Во многих городах Европы требуют нашего освобождения. После встречи в Рейкьявике Ирина выходит на свободу. Удивительно было наше освобождение — по одним и тем же законам судили и освобождали.

Сейчас Ирина и Игорь живут в Лондоне, куда они переехали по приглашению Ириного защитника из «Amnesty International», так как ей требовалось серьезное лечение. Советского гражданства их лишили. В 1989 году мы встретились с Ириной в Стокгольме. Два года тому назад мы не могли представить себе эту встречу. Когда мы, барашевские, теперь встречаемся, мы чувствуем, что строгий режим, описанный в книге Ирины, только навсегда сдружил нас.

ЛИДИЯ ЛАСМАНЕ-ДОРНИНА

Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из книги Ирины Ратушинской «Серый — цвет надежды». Она переведена на все европейские языки и японский. По выходе книга заняла в списке бестселлеров первое место в Швеции, третье — в Англии. Британский книжный клуб включил ее в число 30 книг, которые ежегодно преподносятся королеве. В США она была признана лучшей религиозной книгой года. Автор просила перечислить гонорар на счет Народного фронта Латвии.

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

СЕРЫЙ — ЦВЕТ НАДЕЖДЫ

— Не так страшна тюрьма, страшны люди, — говорила мне на этапе пожилая тетка Вера.

Здесь, в нашей зоне, люди не страшны — именно потому, что люди. Пусть мы все сбиты в один барак, пусть нищенски одеты, пусть приходят с обысками и погромами — мы люди. Нас не заставят стать на четвереньки. У нас не принято выполнять издевательские или бессмысленные требования администрации, потому что мы не отрекаемся от своей свободы. Да, мы живем за проволокой, у нас отобрали все, что хотели, отгородили от друзей и родных, но пока мы не соучаствуем в этом всем сами — мы свободны. А потому каждое лагерное предписание подвергается нашей проверке на разумность. Вставать в шесть утра! Почему бы нет. Работать! Да, если не больны и не

бастуем — почему бы не шить рукавицы для рабочих: дело чистое и честное. Выполнять норму! Это уже зависит от того, до какого состояния вы нас доведете: будут силы — пожалуйста, нет — не обессудьте... Носить эсковскую одежду! Всё равно у нас другой нет, а прикрываться чем-то надо. Но вот расчищать для вас запретную зону мы не пойдём: ни прямое, ни косвенное строительство тюрем и лагерей для нас не приемлемо. На тюрьму не работаем — это уже ваше сторожевое дело. Запрет дарить или отдавать что-нибудь друг другу! Это не ваше дело, надсмотрщики и катэбисты: и дарить будем, и на время давать, а надо — так последнюю рубашку снимем и отдадим, вас не спросимся. Вставать по стойке «смирно», когда входит начальство! Во-первых, вы нам не начальство, а ваша тюремная иерархия

нас не интересует: мы не ваши сотрудники. А во-вторых, это мужчинам по правилам хорошего поведения следует вставать перед женщинами, а не наоборот. У вас другие нормы поведения! Да: мы уже заметили, трудно было бы не заметить. Но мы уж останемся при своих: с вашего разрешения или без такового. Конечно, за это будут расправы, мы знаем. Но так мы не потеряем своего человеческого достоинства и не превратимся в дрессированных животных.

Когда собака прыгает через палку, палку подымают все выше и выше — постепенно... Когда собака лижет руку, ее заставляют лизать еще и сапоги — вот такие, как вы, и заставляют... Но мы не собаки, и вы нам не указ. Извольте знать. Извольте обращаться с нами вежливо и на «вы», иначе мы не ответим, и вы

будете до хрипоты вещать что вам угодно в пустоту: мы вас даже не будем замечать. Не приставайте к нам с вашими политчасами, докладами и прочей пропагандой: мы просто выйдем из дому и не будем вас слушать. И скажет безнадежно молодой офицер Шишочкин:

— Лучше иметь дело с двумя сотнями урок, чем с вашей Малой зоной.

А собственно, почему? Мы всегда вежливы — и с вами, и между собой. Драк и воровства у нас нет, в побеги не уходим. Рукавицы — и те шьем добросовестно, ноль процентов брака... Короче, живем как люди — охране никакой работы.

— А потому, — объяснит нам открытый Шишочкин, — что когда приходишь в уголовную зону — власть чувствуешь.

Это верно, золотые слова. Вот что им дороже всего — власть! Пусть дерутся, матерятся, насилуют друг друга, исподтишка ломают станки, опускаются до последней степени. Зато он, Шишочкин, всем им начальник, и когда он входит — все навтыжку. А мы от него независимы, хоть он может лишить нас на месяц ларька или добиться, чтоб любую из нас отправили в карцер, по-здешнему — ШИЗО. И это прямо-таки развивает у него комплекс неполноценности, да и не у него одного. Но мы-то тут чем можем ему помочь. Мы не психиатры, да и комплекс этот, по всему видно, был у него и раньше. Что другое может заставить человека добровольно пойти в тюремщики, кроме желанья самоутвердиться за счет бесправных людей? Нет, дорогие, тут вы не посамоутверждаетесь! Не зря никто из вас не выдерживает нашего взгляда.

Эти принципы зоны я принимала как законное наследство: они пришлись как раз по мне. Я все их соблюдала и раньше, в том страшном одиночестве в тюрьме КГБ, — частью инстинктивно, частью по здравом размышлении. Не для того я сижу, чтоб кому-то удалось выбить из меня свободу вести себя по-человечески. Высокие слова! Грош им цена, если они не подтверждаются поступками. А если бы мы дорожили больше всего на свете своей шкурой — то и вообще не оказались бы в политзаключенных: покорно лизали бы по месту прописки положенный сапог и называли бы это «быть на свободе»... Теперь-то я уже не одна, а среди своих. Какое счастье!

Наутро Раечка Руденко начинает хлопотать, чтобы как-нибудь меня приодеть: выданные мне два ситцевых платья явно не по сезону. Сейчас апрель, а последние заморозки будут в июне. Это сколько ж еще стучать зубами! Но оказывается, с «политичками» всегда недоразумения: наша зона — «аппендикс» при больнице, а в больнице никого не одевают. Так что на нас законное эзковское обмундирование не предусмотрено: одно дело, когда надо одеть две-три тысячи человек, а другое — когда пятерых. Пихают, что завалюсь на складе, и вечно чего-нибудь не хватает. В этом и минусы: все твое отобрали, а

казенное — где взять. В этом и плюсы: прикрываться все же чем-то надо, и администрация иногда смотрит сквозь пальцы на одежду «неустановленного образца». Можно состряпать себе что попало из того, что найдешь в зоне [вплоть до ткани, из которой шьют матрацы], и куда администрация денется, где она тебе найдет взамен то, что положено! Поневоле терпят, а мы пользуемся: неудобнее и уродливее «установленного образца» трудно что-нибудь сочинить. Так что в итоге мы одеты приличнее обычных зечек.

Года за полтора до моего приезда нашим почему-то выдали «железнодорожные» платья-костюмы из плотной хлопчатки. На них металлические пуговицы с перекрещенными винтовками. Чья это форма попала в зону — остается только гадать. Запасливая Раечка [она у нас дневальная] приберегла одну такую робу, когда кто-то уезжал в ссылку. — «Для тех, кто придет». Я могу два раза в нее завернуться, значит, полная свобода выбора фасона: материала хватит. Смешно, казалось бы: где уж тут думать о фасоне! Кто нас увидит! Да и я сама себя не увижу: самое большое зеркало в зоне — по размеру с десертную тарелку. А вот поди ж ты: женщина — везде женщина. И я обдумываю свою будущую юбку — четырехклинка или шестиклинка! — со всей серьезностью. Ну, может быть, не со всей серьезностью: ведь сама же смеюсь. Но тем не менее... С большой охотой берусь переделывать такую же робу для Раечки. На свободе я немножко шила [поди найди что-нибудь приличное за мои копейки!], и сейчас пальцы истосковались по иголке...

Раечка, видя такой мой энтузиазм, тащит меня в «кинобудку». Когда-то раньше в зону привозили фильмы и крутили их раз в неделю. Была крохотная пристройка к дому для всего этого оборудования. Потом фильмам пришел конец, оборудование увезли, а в «кинобудке» валяются старые телегейки и «бабушкины тряпки». Почему бабушкины!

А оказывается, в зоне были женщины, отсидевшие раньше по 20—30 лет, а некоторые и побольше в других лагерях. Они из секты «истинно православных христиан» — тех еще, которые после мученической смерти патриарха Тихона официальную советскую Церковь православной не признали и новому патриарху, посаженному большевиками, не подчинились. Ушли в катакомбы, как первые христиане — христиане последние, верные убиенному патриарху и расстрелянной Церкви. Жить они жили в миру [кто бы им позволил монастыри!], но с рядом ограничений: ни в каких официальных советских учреждениях не работали, советских денег и документов в руки не брали — мол, это все от сатаны. Подрабатывали частным порядком у добрых людей, а те платили им хлебом и одеждой, которая самим не нужна. Для государства она, конечно, были злостными нарушителями паспортного режима, уклоняющимися от трудовой повинности, да еще к тому же незарегистрированными верующими. Ясно при этом, что получали срок за сроком. А в лагерях

опять же по воскресеньям на работу не выходили и по религиозным праздникам — тоже. Значит — не вылазили из карцеров. Сколько их умерло по лагерям — никто, кроме КГБ, не знает. А некоторые выжили, вот из них-то и были наши «бабушки». Так их называли в зоне — в большинстве они были уже старые и больные, для прочего эзковского населения и для охраны — на всех этапах и пересылках — были они «монашки». И нас потом по инерции так называли:

— Откуда едешь!

— С «тройки», с политической зоны.

— А-а, монашка, значит...

Запомнились им, видно, эти тихие, но упорные, вежливые женщины. Да и как не запомнить: нормальная эзка, если что не так, изматерила бы с ног до головы, а эта:

— Прости тебя Бог, сынок!

Но даже освобождаясь после очередного срока, справку об освобождении в руки не возьмет. Так и уйдет без единой бумажки, на новый верный срок. И с ее точки зрения, это нормально: а как же, она за Господа страдает. А ненормальные как раз мы все: сатане покоряемся и власти сатанинской — только чтобы отстали и не мучили. А где ж это видано, чтоб сатана отстал! Он только пуще возьмется, дальше в душу влезет... Такая была и остается их логика. Некоторые из них еще живы, сидят по ссылкам. У наших «бабушек» некоторых уже и ссылка кончилась, но снова в зону они не приезжали: таки отстал сатана, отчаялся. А другие еще сидят по лагерям — с ясными лицами, готовые умереть за Господа: нет чести выше.

— Сколько их, Международный Красный Крест!

Молчат. Не знают, да и откуда же им знать!

— Сколько их, Amnesty International!

Молчат. Тоже не знают.

— Сколько их, официальный советский патриарх Всея Руси Пимен!

Молчит. Но вполне может и не знать: «истинно православные» — не по его ведомству, так стоит ли беспокоиться!

— Сколько их, КГБ СССР!

Молчат. Эти-то знают, да не скажут.

А у нас в зоне они были, человек восемь, и последними из них досаживали баба Маня и баба Шура, потом и их отправили в ссылку. Баба Маня, по рассказам, была кроткая и ласковая. Увидит на листке букашку — и радуется: как это Господь все подробно устроил, и до чего же всякое Божье творение красиво. Баба Шура была посуровее и время от времени «обличала». Выходила и говорила обитательницам зоны, что в грех они впадают регулярно: и телевизор смотрят, и некоторые курят, и о молитве забывают — безобразии! Обличала она, впрочем, не от склонности характера, а по обязанности, и не чаще, чем раз в два-три месяца. Объясняла это так:

— А вот спроси меня Господь: «Грешна ли!» Я, допустим, скажу: «Почти нет». — «А вокруг тебя грешили!» Я, значит, отвечу: «Да, грешили». — «А куда

же ты-то смотрела!» — спросит Господь. — Что же не обличала!». Вот и обличаю, мне иначе никак нельзя, уж прости-те, Христа ради.

В зоне эти бабушки с бесконечным терпением всем все зашивали и штопали: работа потяжелее им была под старость не по силам. Самых их уже по карцерам старались не посылать: дунь — умрет. А других сажали, и бабушки, до слез их жалея, старались помочь им чем могли. В карцере, как известно, раздевают до нижнего белья, а сверху дают специальный балахон: с бальным декольте и широкими рукавами «три четверти» — чтобы мерзли. На то и карцер. Официально он называется ШИЗО — штрафной изолятор, и без холода там воспитательная работа никак не идет. С нашей зоной, впрочем, не идет она и в холоде. Но бабушки, опытные эчки, с этим холодом боролись: сшили нижнее белье из байковых портянок, которые выдавались на зиму. Да еще и ватой изнутри подстегивали. Вместо лифчиков соорудили что-то вроде коротких жилеток. Все было многослойное, чтоб теплее; сшитое из кусочков — где же взять большие куски ткани. Так и остался нам ящик с «бабушкиным приданым». Смотрю на рубашки, сшитые из разноцветных обрезков: один — трикотажный, другой — полотняный, а вот и шерстяной квадратик где-то раздобыли и вшили. Смотрю на «нижнее белье», которому названья-то человеческого нет — с первого взгляда непонятно даже, какая это часть одежды. Все ношеное, много раз стиранное, аккуратно залатанное и заштопанное. Иногда уж и латка протерта, и на ней — еще одна заплатка или штопка: все так же бережно и любовно, для ближнего — как для самого себя. Мало отдать последнюю рубашку — ей еще надо и жизнь продлить почти до бесконечности. И — не знаю, почему подошло вдруг под горло, — чувствую слезы на глазах: впервые за все время моей эковской жизни. Родные мои, сколько ж это раз вы надевали на себя все это тряпье и отправлялись в ШИЗО! Сколько калорий тепла сберегли эти нищенские бабушкины хитрости! Какой музей XX века может выставить такие экспонаты! Есть лагеря-мемориалы: Освенцим, Трелинка... Но каждой такой тряпке больше лет, чем проработали эти лагеря. Они прекратили свое существование и стали музеями. А наша зона тогда все стояла, и лежали в ящике бабушкины лифчики, ждали очередного ШИЗО. А ШИЗО ждал нас, и ждать ему было недолго.

Начальство, впрочем, к концу следующей зимы спохватилось: какое такое нижнее белье неустановленного образца! Нижнее белье женщине положено одно: хлопчатый мешок на лямках — из той же ткани, из какой простыни. А все остальное — изъять и сжечь. А то и вправду не замерзнут. Как же тогда воспитательная работа! И изъяли, и сожгли. Хорошо хоть бабушки не знают: их к тому времени в лагере уже не было. Верят, наверное, до сих пор (кто жив), что хоть немного нас обогрели, радуются.

И пусть не знают. Может, и Вам, чита-

тель, знать бы этого не следовало! Все равно не осталось уже на свете бабушкиного ящика, и не прошибет вас над ним слеза. Зона наша теперь закрыта, но мемориал там будет не скоро.

* * *

Все нормы людского бытия, в которых воспитан каждый еще до того, как начинает себя помнить, расчетливо и продуманно попирались. Нормальному человеку свойственна чистоплотность! Так получайте соленую тюльку через кормушку ШИЗО прямо в руки! Тарелок, ножей вам не положено, даже листа бумаги не дадут. Обтирайте потом перемазанные рыбьими кишками ладони об себя: воды вам не дадут тоже! Зарабатывайте чешотку и грибки, живите в грязи, дышите запахами параша — тогда почувствуете... Женщинам свойственна стыдливость! Так вас будут раздевать догола при обысках, а пока вы под следствием — выведут вас в баню, а туда «совершенно случайно» войдут гоголчущие офицеры КГБ. А в лагере вам придется доказывать и врачу, и начальнику лагеря, и прокурору — сколько воды и ваты нужно женщине для самых интимных надобностей. И докажете, но после четырехмесячной войны. А уж сколько салынностей наслушаетесь тем временем! Нормального человека шокируют грубость и ложь! Так это предоставят в таком количестве, что вам придется напрягать все душевные силы и помнить: есть, есть другая реальность! Есть порядочные люди, и их большинство, есть целые страны, где черное называют черным, а белое — белым, и это не преследуется по закону. Но так далеко это все будет казаться, что лишь большим усилием воли вы сохраните прежнюю, нормальную систему нравственных ценностей.

И при этом вы ни в коем случае не должны будете позволять себе ненависть! Не потому, что ваши палачи ее не заслуживают. Но допустите вы только это в себе — ненависти в вас за годы лагеря накопится столько, что она вытеснит все остальное, разьест и исковеркает вашу душу. Вас не станет, ваша личность уничтожится, и на свободу выйдет истеричное, невменяемое, осатанелое существо. А если вы умрете в очередном застенке — это же существо предстанет перед Богом. Что им и требуется. Поэтому вы, глядя на очередной винтик этой машины — неважно, в красных он кантах или синих, — постараетесь думать, что вот у него, наверху, есть дети, и они могут вырасти совсем не такими, как он. Или найдете в нем что-то смешное: юмор убивает злость. Или пожалеете его с полным основанием: вот вам сейчас никак не позавидуешь, но ведь вы не хотели бы поменяться с ним местами! То-то и оно... Или, если уж совсем ничего в нем не найдете от человека — то вспомните, что тараканы из дому выводят без тени ненависти, разве только с брезгливостью. А они — вооруженные, сытые и наглые — всего лишь вредные насекомые в нашем большом доме, и рано или позд-

но — мы их выведем и заживем в чистоте. Ну не смешно ли им претендовать на нашу бессмертные души!

Все это вместе в первый же год вырабатывает у вас так называемый «эковский взгляд», который невозможно описать, но, раз его встретив, — и забыть невозможно. Друзья на свободе, обнимая вас, ахнут:

— Какие у тебя стали глаза!

А из ваших палачей ни один этого взгляда не выдержит: все будут воротиться, как псы.

* * *

Обычный быт нашей зоны: месяцами подряд конфискуемые письма, тревога за близких и повторяющиеся изо дня в день усилия, чтоб не скатиться в бесцветную, бесконечную пропасть, которая называется таким коротким словом — «тоска». Таня за весь срок получила только два письма от мужа, из пермского лагеря. Гале гораздо чаще, чем письма от Василия, вручали акты о конфискации: «письмо подозрительно по содержанию». Галя пыталась спорить: ведь письмо ее мужа уже прошло лагерную цензуру в Перми! Что же, для разных цензоров — разные правила! Но не было для цензуры вообще никаких правил: хотели — пропускали письмо, хотели — нет. Хотеть им или не хотеть — решалось в КГБ, а нам они ничего объяснять не были обязаны. Напишешь письмо на двадцати листах — и через пару дней акт: «письмо конфисковано как содержащее условности».

— Да нет там никаких условностей!

— А вот мы нашли.

— Ну покажите, какие строчки вам не нравятся, я перепишу письмо без них.
— Вы сами должны знать.

А все дело в том, что КГБ ведет свои психологические этюды, и по их плану Игорь не должен получать сейчас от меня писем вообще. Потом, через несколько месяцев, когда он изведется от тревоги, — к нему приступят с очередной беседой: мол, меня надо спасать, он сам знает, до чего я доведена и какие у меня шансы выжить так семь лет. Так вот, если бы он был с ними откровенен — может быть, можно было бы что-то для меня сделать... Игорь был откровенен: высказывал им, что он по их поводу думает. Но они в таких случаях не обидчивы: времени у них много. Сейчас брыкается — может, через годик согласится. А переписка все-таки — взаимное влияние, так уж лучше сводить ее к минимуму. Не слишком ли роскошно — 24 письма от жены в год!

Иногда письма конфисковывались действительно по подозрению, и тогда цензор снисходила до объяснений. Например, как-то подшучивая над Игорем, я съехидничала что-то насчет усов и бороды. Так бедная цензорша подумала, что я имею в виду усы и бороду классика марксизма, ленинизма! Так и объяснила:

— Письмо конфисковано, потому что Вы шутите насчет Карла Маркса!



Воистину непостижим ход цензорской мысли: она и не допускает, что кто-то еще кроме их дорогих идеологов может быть усатый-бородатый! Это недоразумение решилось нетипично легко. Я предъявила ей фотографию Игоря, и она хлопнула себя по лбу:

— Ой, правда, я же Вам сама эту фотографию принесла! Я просто забыла, что Ваш муж носит бороду!

И письмо было отправлено.

У тех, кого привезли из Прибалтики, были дополнительные проблемы. Они имели право писать на родном языке, а это означало, что мордовские гебисты ничего не поймут: как же беднякам это пережить! Приставали к нашим:

— Пишите по-русски!

— С какой это статьи я своему сыну буду писать на чужом языке!

— А чтоб цензор понял!

— Я письмо не цензору пишу. Ищите переводчика, это ваше дело.

Пригрозили, что письма не по-русски пропускать не будут. Но тут уж оцетинилась вся зона: с нас бы случилось пойти на серьезный конфликт. Либо отказались бы от переписки все вместе, либо забастовали бы... Цензура отступила. Теперь она делала так: посылала письма куда-то на перевод, а потом уже цензурировала. В итоге одно из писем пани Ядвиги добиралось до дома больше четырех месяцев, а уж три месяца было прямо-таки нормой бытия. Те же попытки были насчет разговоров на свидании:

— Или говорите по-русски, или молчите! Переводчиков у нас нет!

— Хорошо, буду молчать, но с род-

ными по-русски говорить не стану, — ответила пани Ядвига. — Объясню, что мне запретили говорить на родном языке, и все свидания проведу молча.

Тут они сообразили, что это получится уже политическая демонстрация с большим резонансом в Литве, и махнули рукой:

— Говорите как хотите!

Но свидания были такой редкой вещью, что в ту осень и зиму нам о них и думать не приходилось. Было мне положено свидание в начале ноября, но всем было понятно, что лишат: 30 октября — День политзаключенных, и значит — голодовка, и значит — свидание свое я проведу в ШИЗО. Так оно и вышло. Но у меня это уже не вызвало особых огорчений. Слишком хорошо я поняла с прошлого раза, как опасно, когда что-либо в лагерных условиях становится сверхценностью: уж очень легко тогда слететь со всех тормозов. Лагле формулировала свою позицию так:

— Надо жить, зная, что свиданий вообще не будет. Захотят дать — дадут, а нет — переживем. Меньше всего это зависит от нашего поведения, так стоит ли хоть как-нибудь стараться на этот предмет!

Это было очень правильно, и это стало философией зоны. Любые лишения чего угодно мы встречали с шутками. Соответствующие постановления, которые приносил Шалин, назывались у нас «пряниками». Протесты шли своим порядком, но души при этом были избавлены от суеты. Мы могли объявить голодовку или забастовку, но — с улыбкой. И с улыбкой же отправлялись в карцеры.

— Ратушинская и Руденко! В больницу!

Это вызывают нас с Раечкой через несколько часов после того, как уволокли в Саранск Наташу. Наконец-то. У меня с апреля — отеки и температура. Болит правый бок, а чего болит — кто его знает. Теперь-то поставят диагноз. Хотя, конечно, сейчас не самый подходящий момент уходить из зоны: нас явно стараются развести, чтобы оставалось поменьше бастующих. Но выбирать не приходится: собираемся и идем.

— Стоп! Чего это вы с собой понабрали! Это что за конверты! Письма! Велено!

Ох, не нравится нам это «велено!» Прошедшие цензуру письма с воли заключенным по закону разрешается иметь при себе. Известно также, что оставить в зоне — придут с обыском и отберут; другие-то твоим письмам не хозяева и не имеют права на них претендовать. Так что своим на сохранение не дашь. Тем более КГБ проявляет уже месяца два неожиданный интерес к моей переписке: ведут допросы на свободе, даже беременную женщину в роддоме допрашивали. Все ищут в моих письмах тайный код. А теперь, значит, — и в письмах ко мне! Не там ищите, дураки! Но это, конечно, я им объяснить не буду. Упираюсь:

— Не имеете права отнимать!

— Не сдадите письма — не отвезем в больницу!

— Это ваше дело...

Раечка оставляет письма и идет в больницу. Меня задерживают в зоне. Я не



4.



5.

1. Ирина Ратушинская.
2. Раиса Руденко демонстрирует бумажную ленточку со стихами. В капсуле из-под валидола стихи переправлялись на волю.
3. Ирина Ратушинская и Игорь Геращенко.
4. Ирина и Лидия Ласмане-Доронина в Стокгольме.
5. Встреча бывших союзиц малой зоны.

очень переживаю: хотят обследовать — обследуют и так. Если же это только трюк, чтобы выманить письма, — все равно лечить не будут. Почему я так цепляюсь за эти письма с воли! А что же более ценного есть у эска! Знали бы вы, родные, как ваши письма греют нам душу! Знают. Поэтому и пишут — даже те, кто терпеть не может эпистолярного жанра. И половина этих писем оседает в оперчасти, у цензора и у КГБ.

Не отдавать же им вторую половину!! Восемь дней вокруг меня выются:

— А вдруг вы там чего-то написали! Мы должны проверить.

— Проверяйте. При мне.

Нет, это их явно не устраивает. Врач Волкова зудит:

— Сами отказываетесь лечиться!

— Не отказываюсь. Добиваюсь лечения больше полугода.

— Были бы действительно больны — на все бы пошли, лишь бы лечили!

Нет, как раз на все я не пойду. Они любят шантажировать тебя твоей же болезнью: только поддайся — и придется действительно идти на все. Так выламывались над Таней Осиповой в Лефортово. Перед арестом она лечилась, чтобы иметь ребенка. Добивалась, чтобы прерванный курс лечения продолжали в тюрьме. Следователь Губинский ей так и сказал:

— Будете давать показания — будем лечить. А не хотите нам помогать — пеняйте на себя.

И «совершенно случайно» включил пленку с радиопередачей: какое счастье быть матерью и прижимать свое дитя к груди. Таня тогда плакала, но сотрудни-

чать с КГБ, конечно, отказалась. Может, теперь западные врачи вылечат! Да только у Тани за спиной теперь одного ШИЗО больше 160 суток...

Через восемь дней сдаются:

— Ладно, берите письма с собой.

Вот давно бы так! Впервые я в больнице ЖХ-385/3-4. Это — официальное название лагеря. Почему ЖХ! А как же: железнодорожное хозяйство. Ведь в Советском Союзе концентрационных лагерей нет! 385! Ну надо же вести счет тем самым лагерям, которых нет... Как вы догадаетесь, порядковый номер нашего лагеря в Мордовии не последний...

Корпус терапии. Деревянный дом на четырех палаты. Еще там столовая, каптерка и туалет. Да еще кабинеты врачей.

— Все вещи сдайте в каптерку и наденьте халат. Телогрейку вот сюда, на вешалку. В корпусе не надевайте: нарушение.

Ох и собачий же холод в этом корпусе! Но нарваться на нарушение мне сейчас ни к чему. Столько мерзла — померзну еще. Двенадцать человек в палате. Я — тринадцатая. Раечка меня обнимает:

— Ира! Слава Богу!

Она сооружает мне огромный бутерброд: из белого хлеба, повидла и масла. Это надо же! Оказывается, в больничке всем положен усиленный паек: которые без диагноза — тем поменьше, которые с диагнозом — побольше. Раечка уже с диагнозом: не первый раз в больнице. А что тут полагается белый хлеб — мы и в зоне знали: иногда нам тоже перепадало. Ну не завезли черный, а нам пайку подай! Брели тогда из больнички белый и несли. Это был праздник. Наскоро рассказываю Раеч-

ке зоновские новости и присматриваюсь к остальному населению палаты. Трое беременных: лежат здесь, ждут родов. Одна — с воспалением легких, три — с язвой, у двоих что-то с ногами. Впрочем, наша палата привилегированная: ходячая. Парализованные лежат в третьей и четвертой. Ходят под себя, а белье им не меняют неделями. Некоторых из них «актируют» — отдают умирать родным. Наказание исполнено, Родина может быть спокойна. Некоторые умирают прямо здесь, и их хоронят на том самом кладбище за колючей проволокой. Мне про это кладбище расскажет потом Игорь: он пробовал туда пройти, да не удалось.

— А кто ж тебя задержал!

Игорь только хмыкает на мою наивность:

— Направо от зоны — если к ней лицом — обычное кладбище. А эзковское — на территории лагеря, за колючкой. Ну не полезешь же через заграждение, когда там автоматчики на вышках!

И он рассказывает мне, как прибыл на свидание (то, которое не дали) и провел ночь в доме приезжих с семьей, приехавшей хоронить. Двадцатилетняя женщина работала в кассах Аэрофлота, продавала билеты; когда ей был 21 год, случилась пропаша: украли у нее книжечку билетных бланков. Дальше все пошло в соответствии с советским гуманным законом: насчитали ей растрату по максимальной стоимости каждого билета, который можно было бы выписать на бланке. Дали за растрату восемь лет. Она пошла в лагерь, оставив годовалого сына. В 25 умерла в

этой нашей терапии от запущенного вос-
паления легких. Ничего удивительного, ес-
ли подумать, чего стоит из лагеря по-
пасть в больницу. У лагерных врачей же
все — симулянты, пока работать могут. А
когда уже не могут — не всегда и до боль-
нички живыми доезжают. И плакала мать
этой юной женщины, рассказывая Игорю
ночью всю эту историю. Наутро они разо-
шлись: мать — на кладбище, а Игорь —
к лагерной администрации: узнавать, что
свидания не будет. Утверждала в лагере
и утверждаю сейчас: нашим близким
приходилось тяжелее, чем нам! Восемь
раз Игорь приезжал, в Барашево, и шесть
раз — впустую. Это не считая тех случаев,
когда я успевала его предупредить, что
свидания не дают. И каждый раз встречал
в доме приезжих то две, то три семьи,
приехавшие на похороны. Тела им не отда-
вали: раз умерла в заключении — и мерт-
вая будь за колючкой! Он вел статистику,
расспрашивал служащих больницы. Полу-
чалось, что за год вымирает 8% эзков-
ского населения. А ведь лагеря в Мордо-
вии — еще не самые страшные... Хоро-
шо, возьмем 8% от 4,5 миллиона со-
ветских эзков! Приблизительно тысяча че-
ловек в день, сорок человек в час...
Сколько умрет, пока вы дочитаете эту
главу! Читайте сами, читатель, я же не
знаю, какая у Вас скорость чтения...

А в палаты к парализованным нас не
пустили не случайно: этой осенью там бы-
ла пани Ядвига. Для нее лечение стало
каторгой — она меняла парализованным
подстилки, руками обирала с них вшей.
Как и положено христианке. Но при этом
она оказалась единственной нянькой на
палату, и сил у нее не хватало. Пошла
требовать у больничного начальства под-
моги:

— Где гигиена! Как вы содержите боль-
ных!

Начальству, конечно, было наплевать —
так пани Ядвига стала писать в Медуп-
равление... Потому ее и не хотели долго
держат в больничке: подлечили слегка —
и обратно в зону. Я встретила там жен-
щин, которые ее помнили:

— Умная была баба! Как она у вас —
жива!

Стоит ли обижаться за их лексикон —
они пани Ядвигу полюбили и искренне за
нее беспокоились.

А почему же все-таки родным, в нару-
шение закона, стараются не отдавать
эзковские, безопасные уже, тела! Ну, по-
литические — еще понятно: небось устро-
ят торжественные похороны, диссиденты
съедутся, будут произносить речи... И
могилу станет навещать молодежь с цве-
тами... Но — обычный эзк, так называе-
мый бытовик! К нему-то паломничества
не будет! А посчитайте сами: тысяча че-
ловек в день — это сколько же гробов.
Везти их железной дорогой, да, как прави-
ло, не один день... Какая мороза для на-
родного хозяйства! Нет уж, товарищи, не
будем загружать железнодорожные ар-
терии страны! Ведь им уже все равно, а
нам еще коммунизм строить...

И все же больше всех мышей и мокриц,
больше сознательного вымораживания за-
ключенных в ШИЗО, голода и неизбывной
грязи меня в тот раз потрясла бытовая
жизнь уголовного женского лагеря. Этот
бит переносился в соседние камеры, насе-
ление их все время менялось, и двенадца-
ти суток хватило, чтоб войти в курс всех ла-
герных событий. Потом я уже притерпе-
лась, а раньше меня поразило: откуда
в постоянной тюремной перекличке такое
количество мужских имен! Откуда сцены
ревности! Ведь лагерь — женский...

Нет, я знала про уголовную лесбийскую
любовь, но не представляла, что — в та-
ком масштабе. Оторванные от нормаль-
ной жизни женщины, в основном моло-
дые, создавали себе эрзац-любовь и эр-
зац-семьи. Да-да, целые семьи — с де-
душкой и бабушкой (их роли брали на се-
бя пожилые), с папой — мамой и детка-
ми-малолетками. Малолетками были толь-
ко приехавшие из детской зоны, а зна-
чит — достигшие 18-летнего возраста. Но
и им предстояла лагерная женская наука.

— Маша, Маша! Вторая! Что там ново-
го в зоне!

— Ой, Зина, ты!! Вчера этапом мало-
леток привезли. Мы ходили смотреть: та-
кие киски! Одна — в нашей бригаде, мы
ее себе взяли за дочку!

Мужскими именами назывались «коб-
лы» — женщины, берущие себе в лес-
бийской любви мужскую роль. Женскую
роль брали на себя «ковырялки». Разу-
меется, это было запрещено, разумеется,
застигнутых на месте преступления нака-
зывали, и публичное шельмование было
еще самым мягким вариантом. Ничего не
помогало: страсти только разгорались пу-
ще. Если сажали в ШИЗО одну — другая,
по лагерной этике, должна была вытворить
что угодно, но сесть в ШИЗО следом за
ней. Иначе это был повод для ревности, и
начинались бесконечные интриги.

— Федя, ты тут сидишь, а твоя Лизка
с Женькой гуляет!

— С какой это Женькой! — спрашивал
Федя металлическим меццо-сопрано.

— А из шестого отряда!

— Врешь!!

— Ну, спроси у Михрютки, ее только се-
годня посадили.

— Михрютка! Михрютка! Первая! Прав-
да, что ль!

— Черт ее знает, я им свечку не держа-
ла. В ларек, правда, вместе ходили.

— Ну, я ж ее!

И повесть Федька свою Лизку, выйдя из
ШИЗО, или — еще того лучше — вскрыет
себе вены: чтоб доказать любовь и чтоб
«изменщица» опомнилась. Лагерные вра-
чи, сатане от этих постоянно вскрываемых
вен, зашивают их без наркоза:

— Ори, ори, в другой раз вскрываться
не будешь!

Может, конечно, и не будет. Но пока-
зывала же мне в больничке сорокалет-
няя Ксюха сплошь изрезанные руки —
шрам на шраме! И все от несчастной
любви. «Коблы», обаянные, как и все про-
чие, носить косынки, повязывают их осо-

бым манером, чтобы было похоже на муж-
скую кепку. Стараются говорить басом, хо-
дят враскачку, делают татуировки. Сами
себе не стирают: на то есть их «половин-
ки». Доходит до полной невменяемости
даже те, кто имел нормальные семьи на
свободе. Я слышала, сидя в очередном
ШИЗО, дикую сцену: начальница отряда
пришла уговаривать такую «половинку»
выйти из ПКТ¹ на свидание к мужу и
двухлетнему сыну.

Никакие свидания в ПКТ не положены,
но тут администрация то ли сжалилась, то
ли решила разбить лагерную «пару» сожи-
телей. Сам по себе приезд мужа на сви-
дание — в уголовных лагерях несчастая
вещь. Большинство мужчин не ждет своих
попавших в беду жен: разводятся. Бы-
вают, конечно, исключения, но редко.
Это вам не политэзки, которые, бывало,
ждали друг друга по двадцать лет. Тот
приехавший муж был, видимо, одним из
таких исключений. И вот — беспреце-
дентно! — им позволили свидание!

И она не пошла: наотрез отказалась
выйти из камеры к мужу и сыну. Тщетно
уламывала ее изумленная начальница от-
ряда — у нее была уже другая, лагерная
любовь! Ее Сашка, слушавшая это все из
соседней камеры, могла быть довольна...

Конечно, не все в уголовных лагерях
идут на такую любовь. Даже не берусь
утверждать, что большинство. Но самая
частая тема в ШИЗО-ПКТ — об этом. Все
это обрастает целым клубком интриг,
вранья, ссор и примирений. Бывает, сидят
в разных камерах — и день-деньской вы-
ясняют отношения, и все через ту самую
трубу, к которой прижимаешься избытком
телом. За пятнадцать суток десять раз по-
миряются и столько же поругаются. Иног-
да кажется, что основа — даже не эта их
любовь, а физиологическая потребность
иметь в лагере полный букет эмоций: и
ненависть, и зависть, и желание по-женски
нравиться, и азартную дрожь риска. Выра-
батывает ее печенка сколько-то желчи в
сутки — значит, надо с кем-то поругаться
или подражаться. Хочется ей поплакать —
значит, надо помириться или спеть жалоб-
ную песню. Примитивно! Но послушали бы
вы эти бесконечные, как два тюремных
дня одна на другую похожие сцены! Мож-
но было заранее предсказать, кто с кем к
отбою будет объясняться в любви, а кто —
поливать друг друга монотонным ма-
том — чтоб объясниться в любви наутро...
А все вместе оставляло ощущение
рвущейся в крик жалости: несчастные,
несчастные! До чего же вас довели! Хо-
рошо, вы не умеете владеть собой, не
знали настоящей любви, вся лагерная
мука переходит у вас в агрессивность, а
культура для вас — отвлеченное понятие.
Но вы ли одни в этом виноваты! И — ви-
новаты ли вообще! Или все-таки виноваты
те, кто держит вас сейчас в свиновской
грязи, натравливает друг на друга, изде-
вается просто от нечего делать — чтоб
знали руку! И труд превращается для вас
в ненавистную каторгу, лучше которой —
искусственные переломы и сахарный ту-

¹ ПКТ — помещение камерного типа.

беркулез! Они хотят вас перевоспитать! Сделать из вас полноценных людей! Как бы не так! Им просто нужны рабы — жалкие, бесправные и всегда во всем виноватые.

А когда вы с отметкой о судимости в паспорте выйдете «на свободу» с исковерканной душой — к вам явится участковый милиционер осуществлять над вами надзор. И будет он над вами царь и Бог — ему запросто устроить вам статью по хулиганству, например, и улепеч обратно в лагерь. Скажите спасибо, если он потребует от вас только денег. А то ведь может потребовать и такого, что вся лагерная любовь покажется вам верхом целомудрия!

И когда все-таки хоть некоторые из вас (и многие!) сохраняют в этой дикой реальности человечность и доброту — остаются поражаться тихой стойкости женской, иногда даже не осознающей себя, но живой души.

Потом, летом 86-го, у меня будет возможность поговорить на вольные темы с начальницей отряда этого же лагеря: устроит мне КГБ такую «случайную» встречу. И когда я заговорю с ней о лагерных жестокостях, к которым и она причастна, она вскинет на меня непонимающие глаза:

— Вы их просто плохо знаете! Это же не люди, а животные! С ними по-хорошему нельзя.

И я, зная вас, мои соседки по ШИЗО, в ваших слезах и радостях, отчаянно-тоскливой вашей брани и диковатых песнях и в нежданной вашей жалостливости — ей не поверю, что вы — не люди. Только посмотрю с сомнением на нее: а ты-то сама — человек ли, голубушка! Или только кадавр! Есть ведь в фольклоре всех народов этикие тела без души, прикидывающиеся людьми. И всегда, по легендам, они агрессивны и ни на что, кроме зла, не способны...

Но вовсе не похожа будет на кадавра эта молоденькая, русоволосая выпускница юридического факультета. И, глядя в ее прозрачные, чистые глаза, я еще раз пойму, как мало мы, человеческие существа, знаем друг о друге.

Стоял уже январь, и подступали крещенские морозы. Таня, Оля и я решили отметить Крещение по всем народным обычаям. Спокон веку и в России, и на Украине принято было в этот праздник обливаться водой на морозе или окунаться в прорубь. По старому поверью, ничего, кроме здоровья, обливание в такой день не приносит, и бояться простуды не надо. Наши старшие, узнав о таком намерении, только головами качают. Но всерьез не отговаривают: если душа требует — стоит ли спорить! Иногда минута радости важнее всех медицинских перестраховок. Кроме того, Татьяна Михайловна, хоть в матери нам годится — тоже обливалась в Крещение из колодца в зоне — и ничего. А простуд нам и так хватает: уже и Оля съездила в карцер, и мы не вылезаем...

Колодца в нашей зоне нет, но это нас не смущает. После отбоя, когда все ложатся, мы выносим на дорожку ведра и корыто с водой и устанавливаем их между сугробов. Мороз нешуточный, но звезды такие ясные, и нам так весело в эту ночь! Выносим маленький биметаллический термометр, который ухитрился передать мне Игорь. Ого! Минус двадцать пять! Но в наши шальные головы уже бьет молодое, хмельное озорство: ничего с нами не случится в такую ночь! И не увидит никто: ведь глухой забор! По нашей затее, следует раздеться догола, пробежаться по снежку до воды, опрокинуть на себя пару ведер — и в дом, обтираться и греться. Первой бежит Таня. Возвращается мокрая и смеющаяся. Батюшки, и волосы намочила!

Потом бегу я. Снег обжигает босые ноги, звезды посмеиваются над моими худыми ребрами, а во мне скачет веселое маленькой огненной шутихой. Вот и ведра. Вода кажется совсем теплой. Чтобы не налить на дорожку (мне же завтра лед скалывать) — прыгаю в сугроб и обливаюсь там. Мгновенный ожог, и потом уже не холодно. Бегу в дом. По дороге не удерживаюсь и часть тропинки прохожу лихим вальсом. Таня накидывает мне на плечи полотенце. В эту ночь нам не нужно поводов для смеха.

Оля бежит и надолго пропадает. Потом неожиданно что-то белое, тонкое стучит в темное кухонное окно. Оказывается, она не может найти воду (ведра ставили мы с Таней): по ошибке побегала не на ту дорожку. И теперь в форточку спрашивает: где! Таня дает ей точные ориентиры, и через минуту Оля уже в доме, мокрая и (глазам своим не верим!) — с румянцем! Насухо растершись, во всем чистом, завариваем чай. Сердобольная золушка отсыпала нам заварки на ночь:

— Чтоб согрелись, сумасшедшие, после вашего обливания!

Что мы тогда болтали, над чем хохотали — не помню, хоть убей! Потом сообразили, что на Крещение следует гадать: наводить зеркало в зеркало, лить воск, жечь бумагу, смотреть, на что будет похожа тень.

«Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...»

Мы, конечно, солидные замужние дамы, да и вместо башмачков у нас солдатские кирзовые сапоги. Но будьте уверены, что все три наших сапога летят с крыльца через минуту после того, как нас осенила эта идея. Ну-ка, старенький атлас, покажи хоть приблизительно, куда ногами легли наши «башмачки»! Олин сапог показывает на Украину, Танин — куда-то на восток (может, в ссылку! У нее этой весной — конец срока), мой — явно в сторону поселка Явас, где лагерь-«двойка» и ШИЗО-ПКТ. Что никак не ослабляет нашего веселья. Потом по очереди в темной комнате, при двух свечах (как положено!) наводим одно облезлое зеркало в другое и всматриваемся в образующийся мутный коридор:

— Суженый-ряженный,
приди ко мне ужинать!

Мне кажется, что в конце коридора я видела какой-то светлый всплеск. Но, может быть — только кажется!

Нет-нет, мы вовсе не были сумасшедшие в ту крещенскую ночь! Просто — молодые... И, как по-писаному, ничего с нами не случилось, даже насморка. Вот только сапожки наши показали вернее, чем хотелось бы. Оля действительно поехала в следующем сезоне на Украину и обратно спецэтапом КГБ. Умер ее отец, и ей позволили пойти на могилу и дали свидание с измученной горем мамой. Тане по окончании пяти лет лагеря добавили еще два — за голодовки (сработала статья 188-3!) И увезли на восток, в уголовный лагерь Ишимбай. Мне же предстояли в этот год три «гастроли» в ШИЗО, а следующий, 86-й, я встречала в одиночке ПКТ. Мой суженый-ряженный в это время распечатывал мои стихи для самиздата, передавал на Запад «Хронику Малой зоны», писал обращения к парламентам европейских стран. Дрался на улице с гебешниками: на Украине принято «перевоспитывать» диссидентов элементарным избиением. Сбил с ног троих и ушел — каратэ пригодилось. Под одеждой у него был спрятан очередной сборник моих стихов, только полученный и существующий пока в единственном экземпляре. Если задержали бы — обыскали б и отняли. Ему было за что драться. А нам было за что голодать и сидеть по карцерам. Потом, через годы, нас с Игорем спросят в одном английском доме:

— Где ваша присяга! В чем!

И мы ответим:

— Права человека.

ЭПИЛОГ

Сегодня, в сентябре 87-го года, в Малой зоне действительно никого не осталось. Она прекратила свое существование. Лагле живет в Эстонии, пани Лида — в Латвии, пани Ядвига — в Литве, Наташа и Галя — в России, Рая и Оля — на Украине, Таня — в Америке. Но остались пока в ссылке Татьяна Михайловна Великанова и Елена Санникова, но остались сотни политзаключенных по другим лагерям, тюрьмам, ссылкам и психушкам. А эков-рабов, арестованных по уголовным статьям, хоть и не всегда за действительные преступления, — миллионы.

И умер в тюрьме, не дождавшись свободы, Анатолий Марченко, и каждый день кто-то умирает — и сегодня умрут, и завтра. А я живу, и это, наверно, несправедливо. Храню никому не нужную здесь эковскую форму, работы пани Лиды. Иногда прижимаюсь к этой лагерной, столько повидавшей шкуре щекотливой: серый мой, серый цвет! Цвет надежды! Сколько еще стоять этим лагерям на моей земле! Как я смею заснуть сегодня, когда они все стоят!

Но это у нашей зоны была серая форма. У большинства эков — черная. Им-то на что надеяться! Разве только — на нас с вами.

Нет, не спаси, не сохрани.
Мы так отвыкли от защиты!
О, мы совсем не те пииты,
В стихах искавшие брони, —
Мы не холопы и не свита.
В своей гордыне, что ж, карай! —
Не преклонившие колена . . .
Не допусти в последний рай,
Но только сбереги от тлена
Что нам одно — закон и честь,
Что мы растим своим дыханьем
И называем вслух стихами,
Не смея имя произнести.

1977, Одесса

РОДИНА

Ненавистная моя родина!
Нет постыдней твоих ночей.
Как тебе везло
На юродивых,
На холопов и палачей!
Как плодила ты верноподданных,
Как усердна была, губя
Тех — некупленных
и непроданных,
Обреченных любить тебя!
Нет вины на твоих испуганных —
Что ж молчат твои соловьи?
Отчего на крестах поруганных
Застывают
слезы твои?
Как мне снятся твои распятые!
Как мне скоро по их пути
За тебя —
родную,
проклятую —
На такую же смерть идти!
Самой страшной твоей дорогою —
Гранью ненависти
и любви —
Опозоренная, убогая,
Мать и мачеха,
благослови!

1977, Одесса

Я напишу о всех печальных,
Оставшихся на берегу.
Об осужденных на молчанье —
Я напишу.
Потом сожгу.
О, как взвывают эти строки,
Как запрокинутся листы
Под дуновением жестоким
Непоправимой пустоты!
Каким движением надменным
Меня огонь опередит!
И дрогнет пепельная пена.
Но ничего не породит.

1978, Одесса

— Отпусти мой народ
(Нет моего народа).
— Отпусти в мои земли
(Нет земель у меня).
— А иначе мой Бог
(Я не знаю Бога исхода)
Покарает тебя,
И раба твоего, и коня.
Посмотри —
Я в змею обращаю свой
Посох
(О, я знаю — твои жрецы
Передразнят стократ!).
— Не чини мне преград,
Ибо мне этот путь
Послан.
(О, я знаю — мне не дойти.)
— Да не сверну назад.

1978, Одесса

№1.

10

Не берись совладать,
Если мальчик посмотрит мужчиной —
Засчитай, как потерю, примерная родина-мать!
Как ты быстро отвыкла крестить уходящего сына,
Как жестоко взамен научилась его проклинать!

Чем ты солишь свой хлеб —
Чтоб вовек не тянуло к чужому,
Как пускаешь по следу своих деловитых собак,
Про суму, про тюрьму,
Про кошмар сумасшедшего дома —
Не трудись повторять.
Мы навек заучили и так.

Кто был слишком крылат,
Кто с рождения был негоден —
Не берись совладать, покупая, казня и грозя!
Нас уже не достать.
Мы уходим, уходим . . .
Говорят, будто выстрела в спину услышать нельзя.

январь, 80, Киев

ИРИНА

Плачешь,
 родина отсутствующая моя?
 Раскидала детей.
 И куда уж теперь собратъ?
 Да и где сама,
 на каких небесах края...
 Убиенная,
 что ж ты плачешь опять?
 Что ты душу рвешь подкидышам во гнезде,
 Что ты стонешь голосом,
 от которого — дрожь устам?
 Что еще с тобою, в какой ты еще беде,
 Убиенная?
 У какого еще креста
 Не отплакала,
 По каким еще площадям
 Не кричала в безумье кощунственные
 слова?
 Ты стучишь ко мне
 (О, я знаю: не пощадят
 Те, которые постучат вслед)
 И хрипишь: — Жива!

апр., 80, Киев

Отчего снега голубые?
 Наша кровь на тебе, Россия!
 Белой ризой — на сброд и сор,
 Нашей честью — на твой позор
 Опадаем — светлейший прах...
 Что ж, тепло ль тебе в матерях?

дек., 1980 г., Киев

И предадут, и тут же поцелуют —
 Ох, как старо! Никто не избежал.
 Что ж, первый век! Гуляй напропалую,
 Не отпуская потомков с кутежа!
 Весенний месяц нисан длится, длится —
 Ночных садов мучительный балет.
 Что поцелуй? Пустая небылица.
 Все скоро кончится. За пару тысяч лет.
 Но этот месяц — на котором круге? —
 Дойдет до нас, и прочих оттеснят,
 И скажут — нам: — Пойдем умоем руки,
 Мы ни при чем. Ведь все равно казнят.

20 апреля 1984 г.
 ЖХ-385/3-4 Малая зона

РАТУШИНСКАЯ

.REDUCH

С перепоя нейдет, матушка?
 Отойдешь к утру, ничего!
 Все мерещатся ангелы падшие?
 Не впервой!
 Ну-ка хлопни их туфлей сношенной,
 В стенку вмажь!
 Вот и будет им ров некошенный,
 Дурья блажь!
 Бей с размаху, лепи, что силы —
 Так их мать!
 Да по девкам ихним красивым,
 Да по крылушкам, чтоб летать
 Разучились! Да по сусалам!
 По глазам!
 Что ж ты валишься, мать? Устала?
 Что ты взвыла? На образа
 Что косишься, когда их нету?
 Что ты видишь там по углам?
 Ты ж очкарику прошлым летом
 За поллитру их отдала!
 Ну, кончай причитать, мамаша!
 Раз по ангелам не попасть —
 Хлопни рюмку, давай попляшем —
 Наша власть!
 Наше право: хотим — гуляем —
 Раззудись плечо!
 Что ж ты ткнулась в подол соплями?
 Ну, о чем?
 Что ты пялишься, как на Каина?
 Спать пора!
 Нет, теперь поехала каяться.
 Это точно, что до утра.

4 августа 1984 г.
 ЖХ-385/2 ПКТ

Нас Россией клеймит
 Добела раскаленная вьюга,
 Мракобесие темных воронок
 Провалов под снег.
 — Прочь, безглазая, прочь!
 Только как нам уйти друг от друга —
 В бесконечном круженье,
 В родстве и сражении с ней?
 А когда наконец отобьешься
 От нежности тяжелой
 Самовластных объятий,
 В которых уснуть — так навек,
 Все плывет в голове,
 Как от первой ребячьей затяжки,
 И разодраны легкие,
 Как нестандартный конверт.
 А потом, ожидая, пока отойдет от наркоза
 Все, что вышло живьем
 Из безлюдных ее холодов, —
 Знать, что русские ангелы,
 Как воробы на морозах,
 Замерзают под утро
 И падают в снег с проводов.

4 августа 1984 г.
 ЖХ-385/2 ПКТ

Я ТОЖЕ ВЕДЬ ПОЧТИ РОМАН

БЫВШИЕ ЛАГЕРНИКИ: СУДЬБЫ, ГЕРОИ, НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

«Реферendum» № 26

Если верно, что литература — школа жизни, то в последнее время, читая и книги, и журнальные публикации, мы видим, что нас особенно часто начали учить на лагерном и послелагерном опыте тридцатых—пятидесятых годов. Оно и понятно: жизненный опыт тех, кто прошел через лагерь и тюрьму, должен принадлежать всему обществу. Но ведь опыт-то не один. У каждого он свой. Чему же нас учат? Чему мы учимся? Чему следует научиться? . . . В июльской и августовской книжках журнала «Знамя» за прошлый год опубликована автобиографическая повесть известного поэта и бывшего узника сталинских лагерей Анатолия Жигулина «Черные камни» . . . В тех же номерах журнала, — нам трудно судить, случайно, нет ли, а хочется думать, что вовсе не случайно, но по тонкому редакторскому расчету, — помещена переписка Бориса Пастернака и Ариадны Эфрон — дочери Марины Цветаевой и тоже, как и Жигулин, многолетней зечки.

Две эти публикации, помещенные рядом, читаются как единое литературное произведение. Две судьбы одной эпохи. Хотя и разные две судьбы, а проблемы одни и те же . . . Но в том-то и есть замечательная удача редакции, что Жигулин и Эфрон, заставляя читателя думать над одними и теми же нравственными проблемами эпохи, совершенно по-разному проблемы эти разрешают. Так возникает принципиально важный диалог — или даже прямое столкновение моральных принципов, — и нам кажется, что в этом диалоге, в этом столкновении выражена самая суть нравственных противоречий эпохи . . .

Начнем с повести А. Жигулина . . .

В 1948 году в Воронеже несколько молодых людей — им всем кому чуть больше, кому чуть меньше 18 лет — организуют подпольную организацию КПМ — Коммунистическая партия молодежи. Партия у них — антисталинская. Ее главная задача — очистить коммунистическую идею от той грязи, которая налипла на нее за годы правления Сталина, и распространить в массах подлинное марксистско-ленинское учение. Последний пункт программы гласил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире». (7, 21.)

Организационная структура партии, — а всего в ней было около 60 членов, — что-то вроде далекой нечаевской органи-

зации: «В группы входило по несколько человек — от четырех до восьми. Независимо от численности мы называли эти группы пятерками . . . Эта традиционная, широко известная из литературы, давно проверенная пятерочная структура подпольной организации даже при чудовищном провале (рenegатское письмо одного из руководителей КПМ и полный «раскол» на следствии другого) позволила . . . сохранить, уберечь от ареста более двадцати членов КПМ». (7, 21.)

Итак, «чудовищный провал», аресты, тюрьма, следствие. Внутренняя тюрьма КГБ (тогда МГБ) в Воронеже. Во время следствия героя и его товарищей «били, лишали передач, лишали сна (это была самая страшная пытка). Допрашивали днем и ночью . . .». (7, 35.)

«Для меня следствие и Внутренняя тюрьма Воронежского управления МГБ, где я провел одиннадцать месяцев в сырых подвалах и карцерах, где меня дважды избивали почти насмерть, — для меня это был настоящий ад». (7, 45.)

Грубое насилие, которому подвергся герой в те первые дни после ареста, его страдания обрисованы в повести подробно и точно. И для нас, читателей, это очень важно, поскольку пройдет в повести несколько лет, мы перелистаем несколько десятков журнальных страниц и, заканчивая читать повесть, вновь вернемся вместе с героем в ту же тюрьму, и вовсе она уже не будет для него адом, — и тогда сможем увидеть, что же изменилось и в жизни нашего героя, и вокруг него . . .

Пока же мы только в начале текста. Страдания героя не прекращаются и после следствия, и после приговора . . . В лагере все смертельно опасно: немилость начальства или прямое его, начальства, патологическое стремление к убийству (глава «Охота на людей» — одна из самых сильных в повести), ссора с ворами или, напротив, ссора с врагами воров — «суками»; почти наверняка смертельна даже просто утрата одежды, — если, скажем, украдут телогрейку, — морозы зимой под 60 градусов; и конечно же, самая прямая дорога к смерти — болезнь, а заболеть при кааторжной работе и плохом питании куда как обычно.

« . . . Комплекс Бутугычага был расщипан в конце концов на постепенную гибель всех заключенных — от дистрофии и цинги, от самых разных болезней.

. . . В «лечебной» спецзоне (точнее назвать ее предсмертной) люди умирали ежедневно. Равнодушный вахтер сверял номер личного дела с номером уже готовой таблички, трижды прокалывал покойнику грудь специальной стальной пикой, втыкал ее в грязно-гнойный снег возле вахты и выпускал умершего на волю . . .» Эта картина, вполне достойная Босха или Данте, — лишь описание одного лагеря, одной дороги, одной колеи к смерти, а дорог таких многоколейных — равно столько, сколько лагерей. Выживет ли наш герой? Автор, строя сюжет своей повести, даст ли выжить герою или похоронит его на Кладбище Бутугычага (на Кладбище — вот так вот, с заглавной буквы пишется это слово в тексте повести; Кладбище — символ Бутугычага)? И если даст автор своему герою выжить, то каким образом, за счет чего выживет он там, где, по логике вещей, выжить нельзя?

Как вообще надо выживать? Да и надо ли выживать?

Стоп, — скажет читатель, — очнись! Повесть-то документальная. Вопрос — выживет ли герой? — не имеет смысла. Герой-то и есть автор, и мы знаем, что он выжил, что он известный поэт, что его стихи и читают, и даже поют с эстрады, — вот теперь написал повесть. Кажется даже как-то безнравственно ставить вопрос о сюжете, о правдомерности того или иного финала, об идейно-композиционных принципах, когда речь идет о реальных событиях реальной человеческой жизни. Это Пушкин мог убивать или не убивать Ленского, и мы вправе рассуждать, как лучше для общего строя романа, а тут, читая документальную повесть, кто возьмется сказать, что-де вот такой-то финал лучше, а такой хуже? Выжил герой — и слава Богу. Выжил, реабилитирован. Из униженного раба превратился в хозяина жизни, его вчерашние мучители посрамлены, палачи . . . если и не наказаны в меру содеянного, то все-таки выведены в отставку. Порадуемся, чего же еще? Мы и радуемся за человека, которого зовут Анатолием Жигулиным . . .

Но есть ведь еще и другой Анатолий Жигулин — герой повести Толик-Студент. Не живой человек, но литературный персонаж . . . Точно ли документальная основа повести отменяет все те принципы литературоведческого и этического анализа, с ко-

торами принято подходить к литературному произведению, к литературному факту, к литературному герою? Думается, что нет. Документальная повесть — все равно повесть. Автор документального произведения только тогда берется писать его, когда чувствует, что сам жизненный материал имеет некоторую эстетическую ценность — то есть, будучи фактом жизни, может стать и фактом литературы. Именно требования эстетики заставляют автора определенным образом отбирать из необъятного жизненного материала то и только то, что наиболее плодотворно будет работать на художественный замысел произведения. Именно требования эстетики заставляют автора должным образом выстраивать отобранный материал, наиболее явно, четко, картинно предъясняя читателю одни события и вскользь упоминая или даже вовсе упуская другие... Но в литературе принципы эстетические сплошь и рядом переходят в принципы этические (и наоборот!) и уж, по крайней мере, всегда существуют рядом.

Словом, желая здравствовать писателю Анатолию Жигулину и радуясь завершению его мучений, мы не только что право имеем, а просто-таки обязаны понять ту эстетическую и нравственную подоплеку, которая потребовала от автора так построить сюжет своего произведения, что все заканчивается мажорным благополучием и герой остается жить, — кажется, вовсе вопреки логике и здравому смыслу. Автор несколько раз ссылается на случай, но нет, случай, сплошь и рядом влияя на судьбу реальных людей, никоим образом не может объяснить судьбу литературных героев: в искусстве случай — художественный прием, им всегда руководит автор, и мы всегда вправе спросить с него, почему он выбрал своему литературному герою ту или иную судьбу. И ответ, что, мол, «так было в жизни», к делу не идет. Конечно, в жизни только счастливым случай спасает Анатолия Жигулина под светом прожекторов и под перекрестным огнем двух пулеметов, когда при попытке побега из лагеря погибают три его товарища. Но в повести этот случай не только спасает героя, но и становится вершиной сюжета и принимает на себя особую смысловую нагрузку. Он и описан куда более подробно, чем иные эпизоды лагерной жизни — до и после него. Он обретает смысл, который в нем не было (или который был неясен) тогда, много лет назад, когда раненого Толика-Студента (а с того момента — авторитетного лагерника Толика-Беглеца) охранники волокли за ноги — головой по камням... Да нет, мало ли чего в жизни было, а пишется-то не обо всем, а только о том трактуется в литературе, что автору кажется важно всадить в сердце и в сознание читателю... Что именно? Попробуем же разобраться.

Итак, в один прекрасный день следственные мучения нашего героя прекращаются, начинаются мучения лагерные. Приговор Особого совещания при министре государственной безопасности оценивает в десять лет исправительно-трудовых лагерей опасность юношеских революционных иллюзий. Студент Анатолий Жигулин, потом последственный Анатолий Жигулин-Раевский, теперь превращается в Толика-Студента з/к И2-594. Начинается новая жизнь. На первый взгляд, законы лагерной жизни вроде бы никак не соотносятся с законами жизни на воле... Но нам не следует слишком доверять поговорке, что в лагере «закон — тайга, прокурор — медведь», —

ничего подобного! Здесь очень определенный, хотя и не слишком сложный кодекс законов, и каждая «статья» этого кодекса исполняется куда более четко и неукоснительно, чем на воле:

«... Из барака я услышал странные звуки — радостную ругань и смертные крики. Я выбежал и увидел вдаль: стоит, качаясь равномерно, высокий Купа, а два человека пониже ростом, в легкой одежде, вбивают в Купу пики, один — в грудь и в живот, другой — в спину, передавая уже полуживое тело друг другу, с пики на пику. Скоро Купа лежал в большой луже мгновенно замерзавшей крови, тут же куски ваты из щегольской бушлата Купы. Шел легкий снег. И ложились на лицо Купы...»

Содержание внутренней жизни в тех лагерях, в которые попадает Толик-Студент, определяется не столько правилами внутреннего распорядка или взаимоотношениями с лагерным начальством, сколько непрекращающейся смертельной войной между «ворами» и «суками».

«Вор — это, говоря протокольным языком, член общества, живущий за счет преступного промысла — воровства, грабежа, мошенничества и т. п. Вор ни на воле, ни в местах заключения не работал. Вор, начавший, согласившийся работать, становится сукой, то есть вором, нарушившим, потерявшим (воровской) закон.»

... Суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, бурами и (бригадирами), спиногрызами и (помощниками бригадиров). Зверски издевались над работягами, обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки не только были стукачами. По приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам.

Воры и суки смертельно враждовали...»

(Купа, запоротый двумя ворами, был сука-нарядчик.)

Толик-Студент, как и все «спецзаключенные», вынужден жить рядом с уголовниками. От того, какое место определит ему судьба во внутрилагерном мире (или какое он сам сумеет занять), прямо зависит его жизнь. И наш герой в конце концов находит свою спасительную стезю.

Сюжет повести весьма четко делится на две части. Сначала судьба как бы описана от точки зрения героя-повествователя — от той точки, от той позиции, которая ему самому кажется чрезвычайно высокой и красивой, от позиции подпольщика-правдолюбца, чья жизнь понимается им самим как Великое Дело («Позади — страх и робость. Впереди — большая важная работа, опасность, риск...»), и вниз, вниз, до крайней степени унижения, когда не только тело страдает от издевательств уголовников, но и личность кажется растертой, размазанной, уничтожена — нет человека, остался какой-то жалкий комочек страдающей плоти: «Как они издевались надо мной, не буду описывать — больно. И так случилось, что некому мне помочь. У меня началась депрессия. Все ревели, орало и стучало вокруг меня:

— Жид! Жид! Жид! Жид!

Орали разинутые глотки Протасевича, Чернухи и Дзюбы. Стучали перфораторы. Даже в моем кроватном кашле, казалось, звучало:

— Жид! Жид! Жид!... Признавайся! Почему не признаешься, что ты жид!

Так продолжалось два месяца». (8, 78.)

Над ним издеваются суки...

Он мог погибнуть в эти два месяца, как, впрочем, и в любые два месяца до того, как и в любой момент предшествующей лагерной жизни. Но он чудом выжил. И в повести этот эпизод —воротная точка сюжета. С того момента Толик-Студент постепенно стал забирать в свои руки власть над судьбой. И это ему удается! Скажем сразу, что в конце концов он становится на зоне силой и авторитетом. И теперь уже его обидчики, названные выше пофамильно, завидев его, бегут скрыться за решетками внутрилагерной тюрьмы — БУРа, и оттуда, из-за решетки, мерзавец Протасевич униженно канючит:

«— Толик! Прости, Христа ради. Век не забуду. Порежь, если хочешь, только жизни не лишай!».

В камеры пересыльных тюрем наш герой теперь входит как хозяин:

«Когда я вошел туда легкой походкой, все стали глазеть на меня, слышался шепоток:

— Смертник... Смертник... — Мои Берлаговские номера всех потрясли.

Я сказал:

— Привет! Зовут Толик. Пришел с Колымы самолетом.

Мелкая блатная шушера освободила мне лучшее место на верхних нарах у окна. Так позже было и в Новосибирске...».

А еще позже так было и в Воронеже, где Толик-Студент, он же Толик-Беглец, он же Толик-Колыма, и вовсе вошел в роль верховного лагерного авторитета:

«Помещение мне не понравилось. Грязь, двойные сплошные нары...»

— ... Пойдем к нарядчику. Он нас не уважает.

Мы вышли. В номерах, со злыми лицами. Навстречу — несколько удивленный нарядчик...

— Ты что, — сказал я, — нас не уважаешь? Имей в виду: я заколол Колыме двух нарядчиков.

Вдохновенная брехня, но действует безотказно. Главное — полная серьезность.

— Ребята, вы извините, это недоразумение. Пойдемте, я вам покажу другие места...

Одну из двойных кроватей мы заняли полностью и ниже место соседней.

— Пусть перестелят постели!».

Что это? Традиционная победа добра над злом? Победа, которую мы всякий раз втайне ждем, начиная читать роман или повесть? Да и писатель — не ради ли этой победы берется за перо? Так все-таки победа?.. Не станем торопиться. Разберемся по порядку. В эпоху, когда судьба общества решается по лагерям и тюрьмам, даже такая мелочь, как выбор постели в тюремной камере, в лагере, — эпохально значима. Тем более что лагерь, где герой выбирает себе постель, — в том же родном Воронеже, поближе от внутренней тюрьмы КГБ, от той камеры, где ему, истерзанному следствием, пребывавшему тогда в глубокой депрессии, мир казался адом. Что же, изменился мир? Изменился герой? Мы еще вернемся к этим лагерным постелям... Пока же зададимся вопросами более частными: где и как герой набрался силы? Чьим именем, чьей силой становится он силен? Точно ли победой надо считать его лагерный авторитет?..

Избываемый, истязаемый, униженный суками, близкий к тому, чтобы стать лишь номерной табличкой на Кладбище Бутыгача, Толик-Студент по счастливому стечению лагерных обстоятельств оказывается в другой зоне, в лагере с менее жесто-

ким режимом. Счастье, конечно, относительное — как доходягу, его отправляют в другой лагерь «немного прийти в норму».

«На Коцугане я окреп и «сильно озверел» (это означает: стал отчаянно смел). Я был смел и силен, как молодой зверь. За пазухой у меня всегда была завернутая в тряпку острая и крепко закаленная стальная пила. Лезвие пряталось в ножны, сделанные из куска старого валенка».

А над моей головой дремала высокая сопка Бремсберга. Казалось: дайте свободу, и я взбегу на нее, не переводя дыхания».

Но молодость и физическая сила еще не гарантия лагерного авторитета. Что может одиночка — пусть и крепкий — в мире, где идет война сук и воров? Да ничего... Но наш герой не только окреп физически, но обрел авторитетных друзей. Сначала его другом становится «вор в законе» Иван Жук — вот самый яркий штрих его литературного портрета: «Бандит, осужденный за вооруженный грабеж, бежавший шесть раз, слушал «Москву кабацкую», глядя мне в рот, а в глазах его были слезы...». Потом, когда Жук погибает, мы узнаем о дружбе Толика с Лехой Косым. Любил ли Леха поэзию, мы не знаем — он в повести не столько сентиментален, сколько деловит или ироничен:

«— Ясно! — сказал Леха, когда паренек убежал. — Поедем на Центральный сук резать. Готовьте пики...»

... Леха Косой начал веселые переговоры:

— Эх, Протасевич, Чернуха, Дзюба! Ночью начальник забудет закрыть замки на камерах. Резать вас будем. Толик-Беглец на вас большой зуб имеет. Вы меня понайдете?»

Толик с ним рядом. И потом они рядом: «В избушке возле устья штольни мы с Лехой Косым варили цифир по-колымски. А случалось, и спирт пили». Авторитет есть авторитет — и уже шестерки подобострастно несут деньги, чай и «что-нибудь бацильное» (сало, масло, колбаса и т. д.).

«Господи, ну что же здесь еще доискиваться! — восклицает иной читатель, утомленный нашими дотошными вопросами. — Ведь не в писательский дом творчества попал молодой человек! С волками жить — по-волчьи выть! На насилие отвечать насилием. И глотку грызть по-волчьи. Иначе останешься на кладбище в Бутугычаге. Что поделаешь, таково общество, в котором наш герой оказался...»

А действительно, каково лагерное общество? Только ли из воров и сук оно состоит? Только ли сучья война — содержание жизни этого общества? Только ли выбирать надо между Протасевичем и Лехой Косым — и нет иного выбора без гибели?

Что выбирает нарядчик (заметьте, нарядчик — сучья должность) бывший подполковник Волков? Что выбирает врач Батюшков? А генерал Клебер — он же эзка Штерн Александр Федорович? А писатели-евреи Ноте Лурье и Яков Якир? А многие другие, чьей судьбы касается, — и лишь коснувшись, тут же дальше прокатывается судьба героя (а вслед прокатывается, не задержавшись, и внимание повествователя)?

«Я ежедневно ходил и к главным проходным воротам. Там лежали рядом трое погибших моих товарищей. Бывший в зоне больший и старый западноукраинский священник ежедневно читал над ними молитвы на церковнославянском языке. Его про-

гоняли и даже били, но он снова приходил и читал...»

Что выбирает этот старый человек?

Странно говорить, но, может быть, трагедия нашего героя заключается в том, что он молод? Молод и поэтому прочно включен в любую жизненную ситуацию, в какой оказывается? Тут не до выбора — выбирать некогда, да и не из чего. Появляется милая девушка Марта, нежно смотрит на нашего героя — возникает любовь. Появляется сентиментальный бандит Жук, любитель Есенина, — завязывается дружба. Случается знакомство с горным мастером Кузмичем — и наш герой уже студировать книги по горному делу. С японцем — говорит по-английски. С уголовником — «ботает по фене». Со следователем КГБ — с другим, не с тем, который его истязал, — беседует по-дружески... У нашего Толика нет еще никакого социального и нравственного «я», кроме того, какое осознается в тот или иной момент времени и в зависимости от ситуации. Весь его мир — это тот мир, который непосредственно окружает его. Его приласкают — он становится мягче; его бьют — он огрызается, на насилие отвечает насилием. У него нет Испании, как у генерала Клебера, нет военного прошлого, как у подполковника Волкова, нет Бога, как у старика-священника. Юношеская идея построения коммунизма во всем мире, приведшая его в лагерь, кажется, никакого применения не может найти себе во взаимоотношениях с Протасевичем или Лехой Косым... Или нет, может? Точно может!

Вспомним учебники марксизма-ленинизма: идея построения коммунизма — не что иное, как идея насилие. Революционного насилия. Вот кто наш герой, он — революционный романтик. Для него насилие — вполне допустимая норма общественного поведения. Ведь и партия, которую создают несколько юношей в Воронеже, — партия ленинского типа — основана на жесткой дисциплине, т. е. тоже на насилии. Во главе партии жесткий лидер (Борис Батуев — сын секретаря обкома), вождь, чье мнение непререкаемо, — он сам и к смерти не шутя приговаривает, сам и милует, — и наш герой о х о т н о подчиняется чужой воле. Но и сам хочет чувствовать свою силу. И готов усилить себя оружием. Пистолет в его руках — еще в руках у мальчика, еще на воле, еще задолго до ареста, — кажется, сам просит себе работы и, не найдя ее, выстреливает в портрет Сталина на стене. Как бы выплескивает, сублимирует свою готовность всерьез выстрелить — в кого? А в кого обстоятельность подсказует, в противника:

«Исполнение приговора было поручено мне под руководством Бориса. Мы пришли на квартиру Злотника. Он был один. Я уже вынул наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть его, чтобы в глаза объявить приговор...» Что поделаешь, революционный романтик требует готовности к насилию, даже готовности к убийству. Таковы законы игры. Революционер не знает сомнения. Не должен знать. Его партия берет на себя решать, каков должен быть порядок жизни вокруг — порядок чужой жизни. Это ничего, что люди жили по-своему. Теперь будут жить по-нашему. Революционер устанавливает н о в ы й п о р я д о к. И ко всему (или ко всем), что и кто в этот порядок не вписывается, применяется насилие — вплоть до физического уничтожения.

Наш герой молод, уверен в себе... Мо-

жет быть, именно поэтому не столько постигает мир вокруг себя, сколько берет его и приспособливает к своим нуждам, к своему миропониманию? И в движении сюжета рядом с ним всегда кто активно берущий. А в лагере же имеет возможность быть активным в устройстве своей судьбы и брать? Да прежде всего, конечно, уголовники — всюду они фактически хозяева лагерной зоны.

Вот что интересно: множество людей проходит мимо нас в повести, — автор называет их, но ничего толком мы о них узнать не успеваем, — и лишь немногие не только названы, но прямо участвуют в развитии сюжета (или в движении судьбы) Толика-Студента, а значит, и хоть как-то раскрываются нам в деле. И наиболее надежной опорой для нашего героя оказываются «воры в законе» — Иван Жук и Леха Косой. И оба они в некоем ореоле романтики — свободные люди на каторжных зонах. От чего свободные? Да прежде всего свободны от оков традиционной морали... И именно к такому уголовно-романтическому пониманию свободы движет нашего героя сюжет повести.

Горька жизнь в лагере? Готовим побег. Для романтика С В О Б О Д А всегда была священной и требовала жертв. Свобода дороже жизни! Чьей жизни? Это ничего, что придется убить двух солдат охраны (кто эти два обреченных: садисты — охотники за людьми или несчастные, сочувствующие зекам юнцы, вся вина которых в том, что по мобилизации их угораздило попасть на Колыму?). А может быть, придется убить еще и вовсе уж сторонних людей — шофера и заключенного-бесконвойника в машине, которую предстоит захватить? Что поделаешь, романтика есть романтика. Кладбище в Бутугычаге и этих примет... Если побег закончится удачно, то жить придется разбоем — «охотой или разбоем», — объясняет повествователь, но тут же добавляет, что для защиты от солдат или охотников лучше беглецу иметь автомат, хотя винтовка предпочтительнее для охоты на зверя... Разбой — и это ничего, можно. Главное — свобода... Это ничего, что, готовя побег, приходится заставлять такого же, как ты сам, зека идти на риск, содействуя тебе, но с другой стороны: «Коля знал, что в случае отказа Иван его технически замочит...». То есть попросту убьет вор Иван Жук электрика Колю, если тот откажется помочь. Насилие против насилия...

Обратив всю свою ненависть против лагерных сук, Толик как-то ничего не рассказывает нам о своих друзьях-ворах, «ворах в законе» — ничего мы не знаем ни об их быте, ни об их принципах. Ведь не только же они Есенина слушали да слезы лили над стихами. Не найди ничего толком сказанного о них в повести, мы обращаемся к другому авторитетному знатоку лагерных порядков и у него находим вот что:

«Так легки пути блатных в лагере: один шумок, одно предательство, дальше бай и топчи».

Мне возразят, что только с у к и идут занимать должности, а «честные воры» хранят воровской закон. А я сколько ни смотрел на тех и других, не замечал, чтобы одно отребье было благороднее другого. Воры выламывали у эстонцев золотые зубы кочергой. Воры (в Краслаге, 1941 год) топчили литовцев в уборной за отказ отдать им посылку. Воры грабили осужденных на смерть. Воры шутя убивают первого попавшегося однокamerника, чтобы только затеять новое следствие и суд, пересид-

деть зиму в тепле или уйти из тяжелого лагеря, куда уже попали. Что же говорить о такой мелочи, как раздеть-разуть кого-то на морозе? Что говорить об отнятых пайках? . . .

. . . Как же принять их за людей, если они сердце твое вынимают и сосут? Вся их «романтическая вольница» есть вольница вурдалаков». (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Часть третья. Глава 16 «Социально-близкие».)

Случайно Толику не пришлось стать убийцей. Не стал он и вором. Но трагедия в том, что уголовником он все-таки стал. Не воровал, а вот стал уголовником — по образу своего мышления. Помните, как он, уже бывалый лагерник, легкой походкой входит в камеры — в Хабаровске, в Воронеж? Помните, конечно. А помните, кто там еще был в тех камерах? Нет, не помните и не можете помнить, потому что Толик-Студент никого, кроме себя, не видит и ни о ком, кроме себя, рассказать вам не может. Помните, как освобождают ему лучшие места в камерах . . . а кому потом приходится спать на полу, под нарами? Об этом ни слова. О ком еще думать, когда ты так по-лагерному красив и твои Берлаговские номера всех потрясают! Лагерная эстетика переходит в лагерную этику . . . Скажете: что за мелочь этот разговор о месте на нарах — на фоне-то Кладбища в Бутугычаге. Но вот же не мелочь, и есть у нас возможность увидеть, что не мелочь, — есть возможность увидеть то, о чем не стал рассказывать наш повествователь, трактую, как шестерки переставляли ему постели.

Вот что значит занять лучшее место в камере:

«Пахан . . . велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места . . . И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шепот соседней: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух своих загнать вместо себя под нары? И тут только прокалывает меня сознание моей подлости, и заливает краска (и еще много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах — это же братья мои. . .» (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Часть вторая. Глава 2 «Порты архипелага».)

Нет, эти чувства чужды нашему герою. Вот три страшных трупа разлагаются у лагерных ворот — товарищи по неудачному побегу. Жалко и лихого Игоря-Матроса, и бывшего майора Федю Варламова, да и Жука — любителя Есенина . . . Но отчего же не хватает у Толика воображения пожалеть и тех четверых, кого пришлось бы замочить уже на первой стадии побега? А тех, кто попался бы под руку гуляющим по тайге романтикам? Не в стиле романтической традиции жалеть тех, кто лишь фон, лишь прах, глина, в которой отпечатываются следы романтического героя.

Но главное-то не в том, что не хватает воображения увидеть нравственные последствия своих поступков. Беда в том, что повествователю не хватает воображения увидеть причины своих несчастий и несчастий своих солагерников. А за спиной у уголовников как бы даже и необходимости не возникает увидеть что-либо, кроме ненавистных сук! И оказывается, что причина-то национальной, государственной, общественной трагедии . . . в дурных негодяях следователях — в этих суках общегосударственного масштаба! Подумайте, прямо саранча какая-то накопится на страну — и в каждом следствен-

ном кабинете село по негодью. И пошли качать в лагеря эту людскую массу. Но вот после смерти Сталина повелел очистительный ветерок — саранча покинула свои насиженные места . . . и наступило время справедливости. Суки побеждены, и уже следователь КГБ — не зверь и подонки, но приятный собеседник.

Перемена судьбы Толика после лагеря удивительно напоминает перемену его судьбы в лагере: снова, обиженный суками, он находит защиту у «воров в законе». И вот уже бывший генерал КГБ — кроваво знаменитый генерал Ильин, вместе с другими палачами подвинувший к могиле Пастернака и лишивший страну Солженицына, — оказывается любителем его произведений — так некогда умилялся есенинским стихам бандит Иван Жук.

«Только не нужны мне похвальные отзывы палача!» — патетически восклицает наш герой . . . Но, оказывается, это не к Ильину относится, а к другому кагебешнику, прямо причастному к следствию по делу КПМ, — тому тоже стихи Анатолия Жигулина очень даже нравятся . . . Вот так! Правильно! Палач палачу рознь. Тот — нас казнил, и ему анафема, и его похвалы нам не нужны . . . А этот — других, и его благосклонность нам приятна и полезна. Нас ведь казнили незаконно, а других — законно. Так этого, не нас казнившего палача можно и в друзья взять — ведь мы с ним члены одной партии, оба — революционеры и патриоты. Ну как не вспомнить автора, к которому мы уже и прежде обращались как к арбитру:

«. . . в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городского хотя бы с долей симпатии — есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор.

У нас сейчас палачи, ставшие безработными, да и по спецназначению, — руководят . . . художественной литературой и культурой. Они велют воспевать их — как легендарных героев. И это называется у нас почему-то патриотизмом». (А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Часть пятая. Глава 4 «Почему терпели?».)

Закончили мы читать «Черные камни» — повесть Анатолия Жигулина. И страшно за героя-повествователя: прошел человек через лагерный опыт, а что понял? Что выживает сильнейший? Тот, который свои порядки, свой закон, свою власть над людьми установит? Так ведь это же не о человеческом обществе — это о войне сук с ворами. За героя страшно, а за нас с вами, читатель, еще страшнее. Чем жить будем?

Чем жить, если не отвечать насилием на насилие? Возможно ли выжить? Что человеку остается, когда не остается ничего? Чем отмеряется та малость, при которой человек, — казалось бы, лишенный всего, — может жить и оставаться человеком? Мы не знаем, есть ли здесь универсальный ответ. Да и нужен ли — универсальный? Каждому — свое. По-своему ответил А. Жигулин повестью «Черные камни», по-своему отвечает опубликованная в тех же номерах журнала «Знамя» эпистолярная повесть Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака.

Почему мы говорим о повести? Разве это не простая публикация документов? Жигулин хотя бы слово «повесть» поставил в подзаголовок, а здесь? «Из переписки». Начинать читать переписку, мы знаем, что

героиня — ее зовут «Дорогая Аля» или «Аля родная» — живет в том же мире, что и персонажи А. Жигулина, — в России сороковых—пятидесятых годов. Но если хроника жизни Толика-Колымы предьявлена нам детально, чуть ли не в жанре уголовного расследования, — когда помесячно, а когда и вовсе почасно, — то событийная часть жизни «Дорогой Али» по большей части остается нам неясна — события как бы отдалены то иронией автора, а то и прямым нежеланием сообщать о них читателю. Конечно же, мы можем привлечь дополнительные сведения — жизнь Ариадны Сергеевны Эфрон, дочери Марины Цветаевой, в основной своей канве хорошо известна — и ее симпатии к революционным процессам в Советском Союзе, и обстоятельства возвращения из эмиграции, и длительность лагерный срок, и многолетняя ссылка в самых глухих и суровых краях Сибири . . . Но нет, подробности всех этих обстоятельств все не обязательны для понимания переписки «Али родной» и «Дорогого Бориса», — ведь нас же не история интересует, не судьба «реальных» и широко известных людей, — для того, чтобы удовлетворить т а к о й, исторический интерес, не повести Жигулина, ни переписки А. Эфрон и Б. Пастернака все равно недостаточно. Да и публикаторы не такой работы ждут от нас, читателей, — переписка, если не считать краткого вступления, вовсе не комментирована. То есть нам, как и в случае с А. Жигулиным, предьявляется текст — и ничего более. Но всякие тексты, даже тексты так называемых «документальных» жанров, взятые сами по себе, вне их исторических связей, есть не что иное, как литературные произведения, а их персонажи — л и т е р а т у р н ы е герои.

Хроникальные подробности жизни героини нам потому не важны, что они не важны автору текста. А не важны они автору, Ариадне Эфрон, потому, что основной конфликт произведения — не в прямой физической борьбе с условиями жизни — для одинокой, физически слабой, усталой женщины такая борьба просто и немыслима, — но в обретении, вопреки этим материальным условиям, вопреки хронике насилия, — в обретении иной силы, вне времени и пространства.

Безмерная физическая усталость — вот основной мотив всех писем Али: «. . . сил нет никаких, кроме аварийного запаса моральных». Сил нет, нет жилья, нет дров на зиму, скудная пища, даже пальто — неизвестно, было бы, нет ли, если бы Борис прислал немного денег. Да что там пальто — необходимость платить за что-то хотя бы копейки непреодолимо осложняет жизнь: «Книгу я смогу выслать 1—2 декабря — прости за задержку, но пока не получу зарплату — никак не выходит». «Устала, как здешняя собака (именно здешняя, т. к. на них всю зиму возят воду и дрова) . . .» Героиня не только нища и обесилена — она совершенно беззащитна перед силами внешнего мира. Ей, одаренной художнице и литератору, могут платить сущие гроши, меньше ставки уборщицы, — и она будет безропотно принимать что дают: но даже с этого места ее можно уволить, оставив совсем без средств к существованию; можно послать на тяжелые физические работы в деревню, без пищи и одежды; можно вообще, не объясняя даже причин, вывезти из привычной среднерусской Рязани в суровый сибирский Туруханск и оставить здесь на позорную ссылку. Можно как угодно усложнить ее жизнь . . . Что же человеку

остаётся? Депрессия? Та страшная, но в конце концов вовсе не безнадежная (вспомни Толика-Студента), может быть, даже спасительная депрессия, которая ставит человека на край гибели и заставляет понять, что только осознание правил игры, только ненависть к насильникам, только ответное насилие может спасти?

Неизвестно, выжила бы героиня, — да нет, известно, не выжила бы! — если бы выжить возможно было только за счет материальной силы, — откуда ей тут взяться? . . . Так как же выжить? . . . И все-таки выжила, победила!

Переписка А. Эфрон и Б. Пастернака — это книга победы. Но победа героини здесь иная, чем победа Толика-Кольмы. Тот побеждает, учась применяться к обстоятельствам, овладевая обстоятельствами и захватывая власть над ними или входить в союз с теми, кто такой властью располагает, — недаром окончательную победу обеспечивает ему новое руководство КГБ . . . У героини Ариадны Эфрон иная победа. Аля побеждает задолго до реабилитации, задолго до возвращения в Москву. Побеждает, хотя положение ее по сути никак не меняется. Побеждает, не применяясь к миру подлости и абсурда, не пытаясь установить над ним власть, — да ей и не нужна та власть! Не нужна, поскольку живет-то она в иных измерениях бытия. В ее мире попросту нет ни чина КГБ, ни всеобъемлющей, эпохальной войны сук и воров, ни разнообразных насильников, различных по социальному и служебному положению. То есть все эти ирреальные силы держат в плену и истязают ее тело, но никак не могут добраться до ее духовного бытия. И здесь, в мире духовном, — Аля хозяйка и победительница.

Здесь тоже бывают времена тяжелого отчаяния! «Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне. Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие — чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает внутренности, все entrailles, что Прометей с его печеню и что его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном. Как четко и как страшно думается и вспоминается ночью . . .» Но спасение не в том, чтобы перестать вспоминать и перестать мучиться. Спасение в том, чтобы понять смысл и значение происходящего — не только в сегодняшних временных границах — но вне этих границ, вне времени и пространства, за пределами царства уродств и насилия.

«В маленьком, холодном рязанском музее есть работы твоего отца, и по радио передают Скрябина, уйти «от шагов моего божества» (из поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год». — Прим. публикатора), и с Люверс я встретилась в Мордовии, в старом и растрепанном альманахе, за высоким забором, в лесах, где проживал Серафим Саровский . . . И, в общем, мы с тобой живы, и время от времени попадаем в круги, разбегающиеся от когда-то давно брошенного камня, встречаемся с кем-то и кем-то, еще давно близким и опять ждущим на очередном повороте судьбы. Грани между «просто» и «давно» прошедшим стерлись, как стерся счет дням и годам».

Нет, это еще не победа — это только предпосылка победы — умение видеть и опереживать Искусству. Но предпосылка

весьма надежная. Именно это умение Али и дает ей язык для общения с Борисом, а тому, одухотворенному гению, дает возможность сообщить ей нечто обеспечивающее победу вполне. Это нечто — духовное видение мира, общее и для Бориса, и для Али: «Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели — живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурясь, не жмурясь, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы!» «В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни было все — плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять все стало, потому что в них все, бывшее, будущее, вечное, все, чем душа жива». Обретение всего, чем душа жива, — это и есть победа! Победа, потому что: на самом-то деле те, кто обрекает на мучения тело Али (как, впрочем, и тело Толика-Студента), покушаются-то именно на духовный мир. Сломить внутреннее сопротивление — вот задача тех внешних, материальных лишений, которым подвергались и до сих пор подвергаются узники лагерей и пленники ссылки. Не обязательно убить — достаточно втянуть в войну сук и воров. Сделать своим.

Переписка Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака, как, может быть, никакая другая книга, дает понять, почему и как могла выжить русская духовная культура в условиях, когда выжить ничего не могло и не должно было. Дело все в том, что она и не жила в тех условиях — она жила вне их, в ином духовном измерении. «Я тоже ведь почти роман . . .» — понимала Аля и писала об этом, как бы иронизируя. Но за этой иронией — глубокий смысл. Жизнь строится не по законам, предложенным материальными, социальными обстоятельствами, но по вечным законам Красоты. И не как одно только внешнее материальное бытие, но как жизнь Духа. «В постоянном барахтанье, суете, борьбе за хлеб насущный я еще никогда не жила, хоть и приходилось по-всякому. Но всегда, при любых обстоятельствах, удавалось урывать хоть сколько-то «для души». Здесь — невозможно, и поэтому я всегда неспокойна, все мои до отказа заполненные дни кажутся безнадежно пустыми . . .» Но мы, читатели, знаем: героиня повести судит так не от действительной пустоты, а от высокой к себе требовательности. На самом-то деле вечно живой и непреходящий свет горного Духа каждую малость освещает (и освящает!) так, что она становится причастна Красоте. Даже малость печальную. Даже боль и тоску человеческую: «Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих — обросших щетиной мужчин, бледных женщин с развившимися волосами, подростков с патетическими веснушками на скулах и мордочках. Скамьи со спинками, отполированные спинами, плакаты «Мы излечились от рака», «Берегите детей от поносов», отполированные взглядами, ай-яй-яй, какая тоска! О, все эти разговоры вполголоса о боли под лопаткой, под лопаткой, в желудке, в груди, в висках, о боли, боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой, скулющей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично здоровой, хочется встряхнуться и удрать».

А зато как хороши гостиницы, пристани, вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда?

и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо ошипанная и бесперспективная (чужесловенко!). Осенняя муха, а не тоска».

У Красоты, которой спасается героиня, есть и другое имя — Любовь. Поэтому так важна Аля возможность и способность «жить во весь рост, во все уши, во все глаза». Жить среди людей и видеть людей. И понимать их беду, и сострадать. Ее письмо — потрясающий документ сострадания к современникам, ко всем сразу, ко всем вместе!

В Алиных письмах много и о заботах чисто бытовых, материальных, — о покупке домика, о попытках обустройства со скудными средствами, о радости, доставленной денежным переводом. Но эти заботы — лишь фон для того сюжета, который понимается как Большой Роман Жизни. А сюжет — вечен. Это сюжет любви к людям, к жизни — сюжет движения Духа. Такой и только такой сюжет и понимается как Жизнь, и только вовлеченные в развитие этого сюжета герои и понимаются как живые:

«Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу о декабристах. И все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти — м. б. просто потому, что все живое близко живым? Ведь Пушкин — совсем современник . . .»

Нет, Бог с ним, с дождем, а жить все равно интересно. И все равно — живые — бессмертны!».

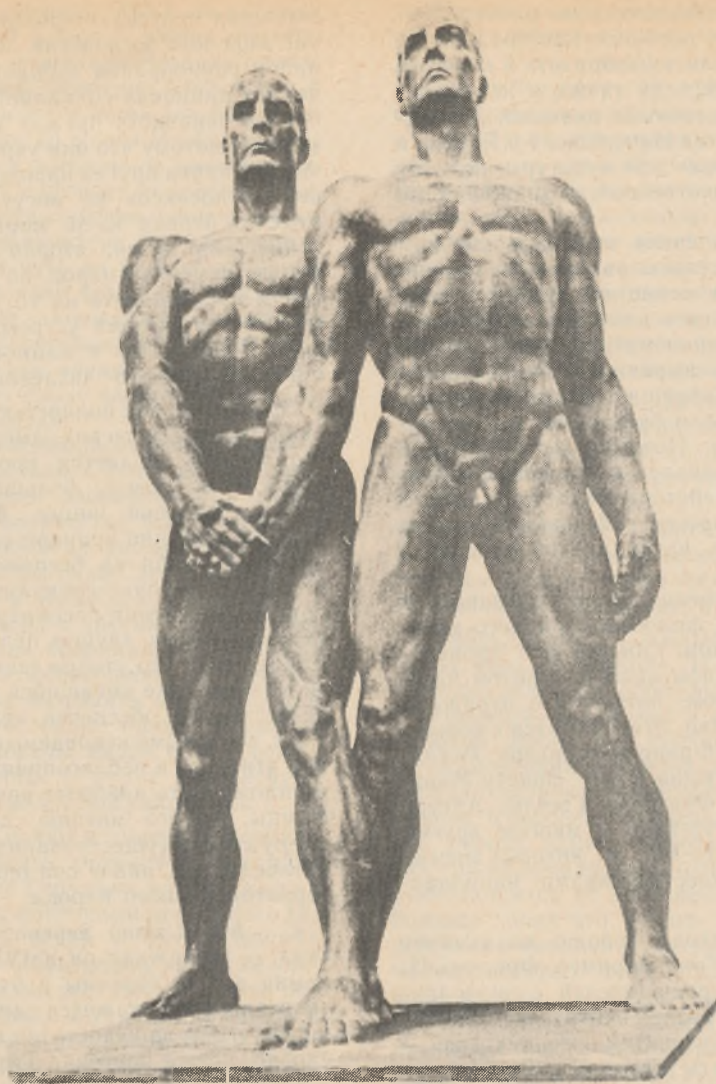
Нужно было обладать гениальной художественной интуицией, чтобы сразу разглядеть и оценить духовный сюжет романа Алиной жизни, — и Борис разглядел и оценил: «. . . Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все . . . ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма . . .»

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь, и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправду с легким сердцем вест свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством!».

Радуйся, русская Духовная культура. Что твои злоключения перед этим богатством!

В последнее время в печати поднялась полемика вокруг повести А. Жигулина, — но не по существу ее нравственного пафоса, а в связи с обвинениями автора в неточности документальной основы. Нехоту, впрочем, в повести не названный по имени, обиделся, угадав себя под именем, данным стукачу, выдававшему КГМ . . . И пошло, и пошло . . . Автор данной рецензии должен сразу сказать, что та полемика никакого отношения к оценке «Черных камней» как литературного произведения не имеет. Все это лишь напоминает о давней войне «сук» и «воров».



ВИЛНИС ЗАРИНЬШ

**ИДЕЙНЫЕ
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА
В XX СТОЛЕТИИ**

Вопрос о духовных отцах национал-социалистов до сих пор исследован только в общих чертах. Выяснением предшественников национал-социалистов занимались как немарксистские историки — французы Эдмонд Вермей, Жан де Панже, Андре Франсуа Понсе, немецкий историк Вернер Мазер и другие (хотя у них это обычно не было главным предметом исследования), так и марксистские ученые и общественные деятели. Некоторые ученые рассматривали также генезис отдельных элементов национал-социализма.

Однако все еще много неясного. Обычно эта проблема рассматривается очень кратко и в общем виде, упоминается только общее или схожее во взглядах авторов прошлых

веков и гитлеровцев, но не указываются различия. Часто чувствуется тенденция изложить вопрос односторонне, искажая историческую правду.

Большинство исследователей фашизма упоминают влияние на Гитлера и его последователей О. Бисмарка, Ф. Ницше, В. Муссолини.

Говоря об источниках, из которых национал-социалисты почерпнули те или иные идеи, исследователи указывают на военную теорию Клаузевица, философа Шпенглера, основателя геополитики шведа Челлена и его главного последователя в Германии генерала Хаусхофера, историка Трейчке, политика Ратенау и многих других. Признавая

проделанную упомянутыми исследователями работу, следует все же отметить, что они, особенно консервативные французские историки, постарались изобразить в качестве предшественников гитлеровских идей также и некоторых прогрессивных немецких общественных деятелей XIX века, боровшихся против господства Наполеона I в Европе и за самостоятельное развитие немецкой культуры, поэтому такие взгляды вызывают существенные возражения по многим конкретным вопросам.

Аргументы для обоснования своих взглядов идеологи национал-социализма брали из самых различных источников: чем древнее и дальше от немецкого империализма был автор, тем свободнее обращались национал-социалисты с его взглядами. Высказывания мыслителей прошлого они обычно использовали как вырванные из контекста цитаты, а мысли идеологов правящих немецких кругов предыдущих поколений списывали буквально, как правило — без указания источников. Поэтому нет оснований считать предшественниками идеологии национал-социализма Гераклита из Эфеса, Мейстера Экхарта и других мыслителей эпох рабовладельчества и феодализма, хотя идеологи национал-социализма часто их цитировали и прославляли.

Очень осторожно в этом смысле следует оценивать и близость взглядов политиков и философов раннего капитализма с национал-социализмом. Обычно она проявлялась только в каком-нибудь одном аспекте, притом чаще формальном, а не существенном, потому что отражала другую ступень развития общества. Это относится к королю Пруссии Фридриху II, Иоганну Фридриху Гердеру, Иоганну Готлибу Фихте, Фридриху Людвигу Яну, Эрнсту Морицу Арнту, Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю, Артуру Шопенгауэру, Карлу фон Клаузевицу и многим другим философам и публицистам XVIII—XIX вв., которых многие авторы часто называют предшественниками национал-социализма.

Односторонность такого подхода хорошо показывает отношение к личности солдата. Так, например, Фридрих II, который кокетничал с учением просветителей, с точки зрения военной целесообразности призвал считаться с человеческим достоинством солдат. Он считал, что никогда не удастся добиться, чтобы солдаты боялись палки унтер-офицера больше, чем пуль и штыков противника (*Oevres de Frederic II Roi de Prusse, I, XVIII, Amsterdam 1788, p. 306*). Гитлеровцы во всех случаях требовали слепого повиновения.

Только в канун первой мировой войны идеологи самых агрессивных кругов немецкого империализма разработали идеологические концепции и политические лозунги, которые национал-социалисты почти без изменений включили в свою идеологию. Здесь мы можем более детально рассмотреть взгляды только некоторых самых видных реакционных теоретиков, политиков и публицистов перед и во время первой мировой войны, в период Веймарской республики. Следует учитывать, что похожие или аналогичные мысли пропагандировали многие другие публицисты и журналисты, потому при сравнении текстов почти невозможно доказать, что то или иное утверждение идеологи национал-социализма переняли именно у этого автора, а не у его коллеги или единомышленника.

Видной фигурой среди пропагандистов экспансии немецкого империализма был Пауль Рорбах. Родившийся в Латвии в 1869 г., теолог по образованию, он объездил многие страны мира, выясняя возможности проникновения туда немецкого капитала и немецких колонистов. С 1903 по 1906 г. он был комиссаром иммиграции в немецкой колонии в Юго-Западной Африке.

Произведения Рорбаха, написанные им в канун I мировой войны, во время войны и после поражения Германии, значительно отличаются по самоуверенности, воинственности и претензиям, однако каждое из них отражает интересы наиболее агрессивных кругов немецкого империализма в соответствующий момент.

В период подготовки I мировой войны Рорбах горячо

защищал претензии немецкого империализма на завоевание мирового господства, мотивируя это требованием принципом равноправия народов так же, как это впоследствии делали национал-социалисты. В те годы он старался пробудить ненависть прежде всего к Англии и англосаксам вообще, потому что они укрепились во всем мире и ограничивают права других народов. Привилегированное положение англосаксов не могут оспаривать ни Франция, ни Россия: первая из-за морального упадка и ничтожного количества детей, вторая — из-за своего бескультурья. Только немецкий народ, по его мнению, достаточно силен, чтобы претендовать на то, чтобы в будущем считались с его национальными устремлениями. Потому во имя этой цели Рорбах, как и национал-социалисты, призвал добиваться резкого численного роста немецкого народа.

Однако Рорбах полностью игнорировал социальные причины демографических изменений. Размножение немцев, по его мнению, является проявлением естественной силы. Радость по поводу большого количества детей — показатель здоровья нации. Французы, как считает Рорбах, добровольно приняли систему двух детей в семье, чем и обрекли себя на беспомощность. Рорбах, так же как позднее национал-социалисты, повышенный численный прирост населения рассматривал только как средство достижения далеко идущих целей экспансии, потому что, в соответствии с его утверждением, кстати совершенно необоснованным, уже имевшийся прирост немецкого народа был недостаточно обеспечен сельскохозяйственными продуктами, полезными ископаемыми и сырьем, потому что Германия втиснута в неблагоприятные границы и ей приходится импортировать наиболее важные средства существования. Немцы, по его мнению, должны постоянно расширять сферу своего существования и завоевывать место рядом с англосаксами, иначе они опять соскользнут на положение территориального народа.

«... Мы словно дерево, укоренившееся в расщелине скал, — утверждал он в 1912 году. — Или мы раздвинем камни во все стороны и будем расти дальше, — или же сопротивление окажется таким сильным, что нам придется погибнуть из-за недостатка питания». Эти слова, почти дословно, позже повторил Гитлер.

До I мировой войны Рорбах важнейшей областью немецкой колонизации считал Африку, особенно немецкие колонии на этом континенте. Существовавшую тогда политику колониальных учреждений он изображал как вредную филантропию по отношению к цветным расам, она, по его мнению, слишком много заботится о сохранении негритянской культуры и недостаточно внимания уделяет колонизации этой территории белыми переселенцами. Он считал, что народы, так же как и индивиды, не имеют права на существование, если они не создают ценности, культуре же человечества намного больше смогут дать колонисты белой расы в Африке, чем негритянские племена, кочующие или занимающиеся мотыжным земледелием. «... Разве немецкий народ должен отказаться увеличить, стать способнее, отказаться искать свободное **жизненное пространство** (*freien Lebensspielraum*) (выделено мною. — В. З.) только потому, что 50 или 300 лет назад какое-то негритянское племя уничтожило, прогнало или поработило своих предшественников и по этому праву тянет свое варварское существование на земле, где десятки тысяч немецких семей могли бы великолепно жить и умножать силу и благополучие нашего народа. Только научившись на службе у высших рас создавать ценности, т. е. по праву прогресса высших рас и собственного, туземцы получают право на существование», — восклицал с пафосом Рорбах.

Рорбах приветствовал начало I мировой войны, указывая, что более благоприятного соотношения сил, чем то, которое было в начале войны между Германией и ее противниками, вряд ли можно было бы дожидаться. Он оправдывал все военные преступления немецких империалистов. Так, например, нарушение нейтралитета Бельгии он старался оправдать наличием прецедента — нападением ан-

глейского флота на датский в сентябре 1807 г. во времена наполеоновских войн. В годы I мировой войны никакие дипломатические соображения не мешали Рорбаху пропагандировать экспансию в Европу. Особенно близка ему в это время была мысль присоединить к Германии Балтию и колонизировать ее немцами. Еще до войны Рорбах высказывал сожаления, что латыши и эстонцы не онемечились еще в далеком прошлом. Однако, в отличие от немецких фашистов, Рорбах утверждал, что балтийские народы принадлежат к западной, а не русской культуре. Рорбах, в отличие от гитлеровцев, изображал чуть ли не филантропией стремление немецкого империализма завоевать и ассимилировать балтийские народы. Он утверждал, что эти народы слишком малы, чтобы самостоятельно развивать культуру. Высшее образование, по его мнению, латыши и эстонцы могут получить только на языке какого-нибудь другого, более многочисленного народа.

Рорбах призывал завоевать Латвию, выгнать латышскую интеллигенцию и онемечить крестьян. Онемечивание народов Балтии, по мнению Рорбаха, проходило бы успешнее, если бы там в большом количестве были поселены немецкие колонисты. Он предполагал расселить на территории Эстонии, Латвии и Литвы около двух миллионов немцев из немецких колоний в России и предусматривал также призвать проживающих в других странах немцев переехать в Балгию. Свои колониальные проекты Рорбах предполагал осуществлять совершенно не считаясь с народами Балтии. «Что могут возразить эти крохотные народы... литовцы, латыши и эстонцы? Разве они смогут сохранить самостоятельную духовную жизнь, если повсюду проникнут немецкие переселенцы и будут воздвигнуты немецкие школы и университеты?» — восклицал он.

В написанных после мировой войны сочинениях Рорбаха трудно найти даже незначительные отличия от взглядов немецких фашистов. Поражение Германии он, так же как национал-социалисты, объяснил факторами морального характера — народ недостаточно верил в необходимость борьбы, а матросы из-за трусости бунтовали, чтобы не участвовать в морском бою. Точно так же, как несколько лет спустя Гитлер, Рорбах объяснял неудачи Германии в войне отсутствием соответствующего мировоззрения (*Weltanschauung*). Так же, как гитлеровцы, Рорбах с помощью аргументации национал-социализма старался бороться с присущими всему человечеству духовными и культурными ценностями, или, как он выражался, универсальностью.

Теми же аргументами, что и национал-социалисты, Рорбах критиковал деятельность католической церкви в Германии и обвинял королей средневековой Священной Римской империи в игнорировании немецких национальных интересов. Рорбах так же отрицательно относился к Веймарской республике, однако, в отличие от гитлеровцев, воздерживался от громких декларативных фраз против нее. Он подчеркивал, что форма государственности — вопрос малозначительный. Важно только, чтобы у масс был хороший вождь. «Мысли вождя и вождь — это все» (*Führergedanke und Führer sind alles*), — восклицал он.

По национальной и социальной демагогии взгляды Рорбаха и гитлеровцев также очень близки. По мнению Рорбаха, в Германии национал-социализм должен подавлять классовые, сословные или профессиональные сознания, потому что они вредят интересам народа. Для воспитания национализма Рорбах давал те же рецепты, что впоследствии Гитлер, — всюду рассказывать, как много культурных ценностей создали немцы и чем им обязано человечество. Констатируя, что история немецкого народа по характеру уникальна — «такого нет ни у одного другого народа», Рорбах только забыл добавить, что история любого народа уникальна.

В то же время, когда Рорбах призывал подчинять и уничтожать другие народы, он пытался изобразить немцев в качестве несчастных мучеников, страдающих от обид, наносимых другими народами. Хотя немецкие меньшинства во многих европейских странах входили в состав правящих классов, он все же изображал их как

угнетенных парий, терпящих всевозможный гнет. Он считал, что в беде все немцы, живущие вне Германии, даже в Данциге или в Австрии.

Рорбах был одним из первых идеологов немецкой буржуазии, понявших необходимость объединения национальной и социальной демагогии с целью стабилизации капиталистического строя. Не боясь громких фраз, он даже утверждал, что Германия погибнет, если не объединит национализм с социализмом. Немецкому народу, по его мнению, необходима не демократизация, а социализация. Под этим подразумевалось затушевывание классовых противоречий во имя националистической демагогии. Эти утверждения Рорбаха, как и многие другие, немецкий фашизм без изменений перенес в свою программу и пропагандировал как свои оригинальные открытия.

В идеологии национал-социализма было много прямых заимствований из взглядов онемечившегося англичанина Хьюстона Стюарта Чемберлена. Чемберлен (1855—1927) родился в Портсмуте, изучал историю искусств в Дрездене, с 1889 г. жил в Вене, а с 1908 г. — в Байрейте. Он был одним из наиболее энергичных глашатаев интересов немецкой империалистической буржуазии. Много знаменитых слов взглядам Чемберлена посвятили А. Гитлер, А. Розенберг и другие идеологи национал-социализма.

Чемберлен писал сочинения о жизни и деятельности Р. Вагнера, Ф. Ницше, И. В. Гете, И. Канта и других деятелей немецкой культуры, интерпретируя их в духе великогерманского шовинизма и пангерманизма. В годы первой мировой войны его публицистические статьи отражали взгляды немецких империалистических кругов. Чемберлен отрицал наличие противоречий в немецком народе и всех немцев, а особенно выдающихся немецких философов, поэтов, ученых, администраторов и т. д., старался изобразить как принадлежащих к одному семейству и существенно отличающихся от всех немцев. Чемберлен, так же как позднее делал это Гитлер, призывал превратить великих деятелей немецкой культуры в наглядные пособия, с помощью которых можно было бы воспитать в молодежи национализм. Он утверждал, что ни в одной стране мира нет деятелей, равноценных немцам. Немецкие поэты непревзойденны по многообразию интересов, патриотизму и стремлениям к развитию культуры, немецкие государственные деятели не имеют себе равных по образованию, строгой нравственности и душевной чистоте. Чемберлен высказывал мысль, что патриотизм является важнейшей задачей каждого немца. Особо важно осознать это образованным немцам, потому что о необразованных заботится добрый ангел-хранитель и они инстинктивно становятся националистами. Чемберлен декларировал, что быть немцем — это ответственный, завещанный от бога долг. Лучшей школой национализма Чемберлен, как и позже национал-социалисты, считал армию, но он требовал, чтобы и наука, религия, школа, искусство, политика и т. д. были вовлечены в воспитание национализма у немцев.

Еще задолго до появления национал-социализма Чемберлен развил воинствующий немецкий национализм до расизма.

Национал-социалисты часто провозглашали свои антипатии к социал-демократии. Однако это отнюдь не помешало им перенять многие пропагандистские элементы правых социал-демократов. Это было тем легче сделать, что правые социал-демократы в период империализма и особенно в годы I мировой войны защищали интересы крупной немецкой буржуазии. Здесь можно рассмотреть влияние взглядов только одного видного политика социал-демократии Иоганна Пленге на немецкий фашизм.

Иоганн Пленге, так же как потом национал-социалисты, утверждал, что в I мировой войне немецкий народ борется за свою жизнь и свое экономическое существование, и поэтому призывал жертвовать всем для этой войны. Причинами войны, правда, в отличие от немецких фашистов, Пленге считал явление хозяйственного, а не биологического характера, однако и он провозгласил войну фатальной неизбежностью общественной жизни и необходи-

мым условием хозяйственного развития. Пленге декларативно отвергал идею мирового господства как цель войны, однако требовал лишь . . . чтобы Германии было обеспечено руководство Европой и чтобы Германия была центром европейской политики, к тому же, чтобы Германия получила большие колонии, особенно в Центральной Африке, а также выход в Восточную Азию. Всеми этими благами Германии не следует делиться с союзниками и, например, не надо хозяйственно объединяться с Австрией. Дружба народов, высказывался Пленге, — это вовсе не брак, а если и брак, то только с раздельным имуществом. Изложение целей войны у Пленге мало чем отличается от обычных пропагандистских стандартов крупной немецкой буржуазии, и из-за него не стоило бы разыскивать писания социал-демократов. Однако здесь было и что-то своеобразное и особо подходящее для немецких фашистов — стремление изобразить милитаризацию народного хозяйства как преобразование социалистического характера. Пленге утверждал, что во время войны экономика и государство Германии полностью слились. Для выполнения задач исторического значения немецкий народ сплачивается и общие интересы ставит выше личных.

Строгий государственный контроль над милитаризованной экономикой Пленге называл **Новым порядком** (выделено мною. — В. З.) хозяйственной жизни (*Neuordnung unseres Wirtschaftslebens*), а милитаризацию общественной жизни и подавление классовой борьбы рабочего класса в Германии в начальный период I мировой войны он изображал как социальный мир и высказывал надежду, что такое положение сохранится и после войны. Контроль монополистического государства над всеми отраслями экономики и подавление классовой борьбы Пленге, как и позднее Гитлер, Геббельс и Лей, называл социализмом. «Организация — это социализм», — восклицал он. Пленге утверждал, что во время войны родилось настоящее государство будущего — высшая ступень немецкого национального государства, которое, хотя и не уничтожило классовые интересы, все же преодолело их во имя высшей идеи.

От подобных взглядов до гитлеровской пропаганды тотальной войны остался один шаг.

Идеология национал-социализма многое позаимствовала у реакционного философа и публициста Меллера ван дер Брука (1876—1925). Философские взгляды Меллера ван дер Брука были непоследовательными — он часто путал объективную реальность с познанием, а первоосновой любого бытия считал мистику. Мистику Меллер ван дер Брук определял как единение человека с чувством созидания. (*Mystik ist Einsein des Menschen mit dem Schöpfungsgefühl.*) Мистика, по его мнению, охватывает истоки появления как отдельного человека, так и народов и рас. В вопросах познания Меллер ван дер Брук часто называет мистикой психологические явления, которые в науке обычно принято называть интуицией. Мистика, по утверждению ван дер Брука, является интегрирующей частью природы, и закон сохранения вещества и энергии распространяется также и на мистические силы. Мистика (на сей раз это слово употребляется для обозначения философского направления. — В. З.), по мнению Меллера ван дер Брука, конкретизируется в своем развитии. Взгляд становится познанием, догадка — достоверностью и хаос — системой. Мистика сама естественно стремится стать метафизикой. Мистика, в зависимости от расы, культуры и других обстоятельств, может развиваться и в религию, и в философию, но у нее нет никакого соприкосновения ни с догматикой, ни с этикой. Формой проявления мистики является миф. Без такой формы мистика была бы нема, она была бы как расплывчатое настроение (*schwimmende Stimmung*) вне времени и пространства. В том же значении, что и Меллер ван дер Брук, слова «мистика» и «миф» употребляли и национал-социалисты, особенно А. Розенберг в своем сочинении «*Der Mythos des 20. Jahrhunderts*».

Близким к позиции национал-социалистов, особенно А. Розенберга, было отношение Меллера ван дер Брука к

христианству, особенно к католической церкви. Он высказал мысль, что история христианства является историей его распада и что главным разрушителем христианства была церковь, навязывавшая свое посредничество между людьми и богом. Католицизм, указывал Меллер ван дер Брук, чужд сущности германцев, а если в нем и удается найти что-то светлое и жизнерадостное, то это влияние германских народов. Такой взгляд неоднократно высказывался и А. Розенбергом. Так же, как и позднее Розенберг, Меллер ван дер Брук весьма презрительно отзывался о средневековой схоластике, зато с большим почтением относился к средневековому мистику Мейстеру Экхарту, отмечая как его особую заслугу освобождение понятия Бога от любых человеческих качеств, например опровержение утверждения, что Бог умный, добрый, вездесущий, требование слияния не с образом Бога, а с сущностью.

Трудно провести грань между взглядами национал-социалистов и фельдмаршала Эриха Людендорфа (1865—1937). В конце первой мировой войны Людендорф упрямо отказывался признать поражение Германии и требовал продолжать войну до последней капли немецкой крови. В первые послевоенные годы он был видной фигурой среди крайне правых экстремистов и открытых проповедников реванша. Во время ноябрьского путча 1923 г. Людендорф был вместе с Гитлером, но в последующие годы у него с Гитлером и некоторыми другими руководителями национал-социалистов появились резкие разногласия личного порядка. Однако эти личные разногласия не затронули привилегированного положения Людендорфа в фашистской Германии, и его статьи в главных чертах провозглашали мнение национал-социалистов. Больше всего общего во взглядах Людендорфа и ведущих национал-социалистов было в оценках прошлого и по военным вопросам.

Людендорф утверждал, что I мировая война была борьбой немецкого народа за существование, против соседей, угрожавших свободе и благополучию немецкого народа.

Людендорф упрекал политиков завоеванной Германии в чрезмерном миролюбии и непомерной терпимости к национальным меньшинствам. Выбор времени начала войны Людендорф задним числом считал неудачным, так как в мирных условиях силы Германии росли быстрее, чем у ее противников. В развязывании войны Людендорф упрекал руководителей еврейских организаций, потому что те надеялись в результате войны получить в Палестине область для колонизации. Однако он признавал, что в этой войне евреи проливали кровь и за Германию.

В отличие от Розенберга, который использование жителей колоний в войне (на стороне Антанты) считал тяжким преступлением, Людендорф упрекал немецких политиков за то, что они этого не делали. Кроме того, Людендорф открыто признавал, что верховное командование немецких войск на секретных мирных переговорах с царской Россией в конце 1916 года, а также в Бресте в начале 1918 года наряду с требованиями, направленными на укрепление границ, достижение экономических преимуществ, выдвинуло требование аннексии Курземе и Литвы, создания зависимой от Германии Польши. Он считал эти требования весьма умеренными.

Подобно национал-социалистам, Людендорф утверждал, что немецкие войска не были разбиты в мировой войне. Политики заставили непобежденное войско сложить оружие и тем самым вогнали немецкий народ в рабство. Слабость Германии Людендорф усматривал в том, что школы недостаточно националистичны, что в Германии проживает много немцев, особенно евреев, распространяющих ненемецкий дух. Уже в 1923 году Людендорф жаловался, что у немцев недостаточно развито чувство расы.

Как и национал-социалисты, Людендорф принижал роль экономики в жизни народов и подчеркивал значение духа народа. Подобно национал-социалистам, он призывал положить конец классовым противоречиям (!!!) среди немецкого народа и создать единый фронт против врагов.

Этот единый фронт, по его мнению, вдохновляла бы глубокая христианская вера в Бога и горячая самоотверженная любовь к отчизне.

В последние годы отношение Людендорфа к христианской религии значительно изменилось. После прихода фашистов к власти он признал, что христианство чуждо сущности немецкого народа и противоречит немецкому расовому наследию. Особенно яростно Людендорф в это время осуждал католическую церковь, потому что она, как и евреи, ослабляет немецкий народ и способствовала разгрому Германии в I мировой войне. Уже в двадцатые годы Людендорф требовал, чтобы в сердце каждого немца обитали воинские добродетели, особенно подчинение вождю.

В дальнейшем в трудах Людендорфа еще больше усилилось стремление превратить Германию в военный лагерь и привить сознанию немецкого народа настроение обитателей осажденной крепости. Он одним из первых начал пропагандировать тотальную войну, в которой в борьбе не на жизнь, а на смерть должны участвовать не только армии, но любой житель. Полководец, по мнению Людендорфа, должен быть самой высокой инстанцией в стране и не должен быть подчинен никакой другой воле, кроме собственной. Для выполнения полководческих задач не столь важны знания, как твердый характер, на который можно опереться. Объявление войны он считал излишним. Людендорф призывал так воспитывать народ, чтобы он был готов без сомнений нести все тяготы войны и мог бороться и трудиться с предельным напряжением сил в течение многих месяцев и лет. Для укрепления боевого духа Людендорф призывал использовать все средства пропаганды, особенно прессу, радио и кино.

Гораздо сдержаннее он высказывался в вопросе использования художественной литературы в воспитании солдат. По его мнению, в их ранцах не следовало бы находиться «Фаусту» Гете, а вот стихам Шиллера там место.

Правда, не по всем вопросам взгляды Людендорфа и ведущих национал-социалистов были идентичны. Так,

например, Гитлер считал ложь и правду одинаково ценными средствами пропаганды, лишь бы достигались желаемые результаты, а по мнению Людендорфа, народу надо всегда говорить правду, даже если положение неблагоприятно.

В отличие от пропагандировавшегося Гитлером культа самца и презрения к женщинам, Людендорф выступал за правовое равноправие женщины с мужчиной. Если Гитлер очень низко оценивал военный потенциал Советского Союза, то Людендорф уже в первые послевоенные годы говорил о нем с большим уважением. Однако отнюдь не эти мелкие разногласия по теоретическим вопросам, а безграничное самолюбие и эгоцентризм Гитлера и Людендорфа делали невозможной их длительную дружбу. В письме президенту Гинденбургу 31 января 1933 г. Людендорф резко осудил передачу власти Гитлеру: «Назначив Гитлера Рейхсканцлером, Вы передали (ausgeliefert) нашу святую немецкую отчизну одному из самых больших демагогов всех времен. Я Вам торжественно пророчествую, что этот ужасный человек столкнет нашу страну в пропасть и доставит народу непостижимые страдания. Будущие поколения проклянут Вас в могиле из-за этого поступка».

Очень трудно или почти невозможно определить, каким образом взгляды этих реакционных литераторов и публицистов дошли до сознания идеологов национал-социализма. Чаще всего это могло произойти посредством газетных брошюр. Так, например, главным источником расистских взглядов Гитлера западногерманские историки считают антисемитское периодическое издание «Ostaga», которое в 1905—1914 гг. в Вене тиражом до 100 000 экземпляров издавал авантюрист доктор Ланц фон Любенфель (на самом деле и не доктор, и не аристократ). Хотя надо отметить, что Гитлер сам венский довоенный антисемитизм охарактеризовал как поверхностный и малопонятный. Однако выяснение духовного развития отдельных деятелей национал-социалистического движения — пока задача на будущее.



ЕЛИЗАВЕТА КУЦИНЯ

«...УН НЕАТКАРИГУ!»

РАССКАЗ

Э-эх, хороша водочка! Закусить... А что там? Р-р-р-р-р-р-мм-цам-цам-цам-цам. П-р-р-р-р-т. Все. Замер. Опять лягнул — сколько там? — десятками тонн металла и — замер. Хм, он. Это по привычке — он. Танк — он. Хотя там, внизу, совсем не танк — он. Это боевая машина пехоты — БМП — она. Полегче немного, да и формы поэтичнее. Женщина все-таки. А вот интересно, какой бы ребеночек родился у танка и бээмпешки? Вот танк сзади подъехал и пушкой — так страстно... Или нет. Лучше спереди. Спереди подполз и своей пушкой так аккуратненько бээмпешкину пушечку пощекотал. Та сразу поднимается вверх; а движок ревет сильнее, сильнее, из глушителя только синий дым — а-ах, а-ах, все чаще; и вот уже передний люк открыт: пожалуйста, милый, я вся твоя, я вся твоя, возьми меня, возьми меня...

Бредь какая. А ничего, привыкли. (Э-эх, хороша водочка!) Кто как — не знаю, а я привык. И жена тоже. Улочка у нас тихая, зеленая. Рядом дом министров, чуть поодаль — два дома — стенка в стенку — генеральский и творческих работников. Писательский — мы его зовем. Когда бы как, а сейчас все писатели дома. Ни теплушек, ни Сибири. (Еще стопарик — э-эх, хороша!) И еще милиция на углу (а за здоровье советский милиции — вне очереди — э-эх... селедочки...). Тишь да гладь, да божья благодать. Вот и ползут под окна, как вечер, — спокойно им тут, мирно; ни тебе бутылки из окна... Хотя какие там сейчас бутылки. Тогда, в 89-м, кинули пару штук в какой-то несчастный БТР — и успокоились. Он и загореться-то как следует не успел. Ребят тех поймали — сразу же. Не знаю, врут, нет — говорят, что наркоманы были. В дурдом их сразу, а там уже... Ну, ясно, что. Небось и сейчас гниют. А я по телу тогда смотрел — типа митинга: орут, кулаки вверх, флагами махают. Ну-ну, думаю. Пошли б вы в ж... Наделали независимости себе на голову — вот, кушайте. Но успокоились быстро. И по городу железо это спокойно ползает, никто и внимания... А все-таки на нашей улочке тише.

Жарища опять! (Э-эх; рыбочкой... хорошо — о!). Окна настезь. Вот только кажется, что бензином смердит от женщины этой железной снизу. В крови, говорили, потопят? Фиг тебе. В бензине! И еще в спирте. В общем, во всем, что горит. И от чего торчат.

Во — люки открыли. Выполз экипаж. Потные, грязные. Ф-ф-э-э. Как представишь на минутку... Не хотел бы я сейчас в эту железку. Выползли. Эти — кто сегодня? Выглядывать лень. Я обычно слушаю, с каким акцентом говорят. Благо окно невысоко. А высунешься — так и запустить чем-нибудь могут, один, правда, раз так было, но все равно неприятно. Один только раз, а обычно и побазаришь с ними, посидишь на гусенице, покуришь. Обычный табак я с ними курю. Анашу эту терпеть не могу. Привезли из Азии своей солнечной, как закурят, только и слышишь: «ёпи твою, ёпи твою...». Сейчас вроде без акцента. Кто — не поймешь. А-а, один черт. Мат везде одинаковый. Языки размяли, курят. Молчат. Да и говорить-то о чем?

Ветерок, наслаждаются. Боевое дежурство, тэк сказать. Охраняют слуг народных. Повезло. Тихо тут. Раньше, после сухого указа, летом, как ночь, так вопли, двери хлопают: хмелеуборочная приехала. Ментам работы было! Недолго, правда. А сейчас — окиян-море разливанное. Бери не хоч, даже в хлебном самогон кооперативный. (А ну-ка, по маленькой, за указ!) Вот только не пойму, какого фига дежурный магазин на Ленина ночью торгует: один хрен, после 23-х ни шагу без пропуска. А у кого пропуск, тот вроде по ночам и не пьет?

А даже и спокойней. Хрена там ночью таскаться? Один черт, спишь дома. А Серега зайдет, врежем по полшу, так и спит у нас, хата большая. Тогда-то, в 89-м, конечно, здорово пересрали. Хотя и крови-то почти не было. Как ринулось это железо с разных сторон на Ригу, ну, думали, амбег пришел, туши свет, суши веники. Так ведь и стреляли-то чуть-чуть. Туда-сюда, комендант

города, мол, товарищ Хабабуллин, просим-де любить и жаловать. Нет, все же порядок теперь, что ни говори. Шпана хоть малость поутихла. А то ведь не пройти по центру-то: лохматые, грязные, глаза в кучку, не поймешь, пьяные или ширнулись морфием каким. А этот, этот — рыжий, толстый, в коричневом пальто драповом, старинном — так прямо за рукав хватал, подписывайся, мол, против оккупации да за бриву ун неаткаригу Латвию*. Прямо шагу не сделать было. А сейчас — нормально. Солдаты по трое на углах. Да и Милда вроде при деле, цветы, как всегда, только толпы нет. И на кой она, толпа-то, языки чесать? Нет, так вот подумаешь, точно больше порядка стало и жить можно. (А ну, за порядок, полста... ффу, ну и гадость же!) Лип вот только жалко, что под окнами росли. Спилили, собаки. А так летом славненько окна от проезжей части прикрывали — и тише, и воняет не так. Спилили. Бутылок из окон испугались? Козлы хреновы. Это же ДОС** бывший, тут же одни Инвалиды и Участники живут. Я только случился не в кассу.

Да, лип жалко... Вот, закурили. Опять вонюща — терпеть эту анашу не могу. Не дай бог, всю ночь смолить будут. Хоть окна закрывай. А на улице 26 тепла — как в парнике. Да фигли толку мне — я ж больше не вырасту.

— Ха-ха-ха! Саня, а щё ты... твою мать... ха-ха-ха...

— Пидор македонский! Ха-ха-ха...

— Сам пидор! Пидор! Ха-ха-ха-ха...

— А у тебя в сапоги кошки насрали! Ха-ха-ха...

— Э-э-э, смари, баба... да жирная какая!

— Эй, толстая, иди сюда, поживем-увидим! Ха-ха-ха...

— Ха-ха-ха...

Что-то рано у них сегодня началось. Опять, наверное, до того этих заглотили... ну как их, снотворные-то? Вот черт, забыл. Да, удобные колесики, заглоти, а через минуток так... неважно, и повело-о-о. А тут еще анаши добавить сверху — и ваще! Весело, говорят. (А ну-ка... фу, гадость, кто её, паскуду, пить придумал?) Вот ребятки и балдеют. Ну-ка, взглянуть. Ну-у, этих-то знаю. Командир у них совсем салабон, он тут в четвертом доме себе подругу надыбал. Видать, уже у нее. Торчите, родные, торчите. Спокуха, бутылка из окон не будет. Бензин самому сгодится. Водяра-то, хоть и много ее, а что-то не в кайф. Уж и в горло сегодня нейдет. Да без Сереги разве выпивка, так, скука смертная. А больше и не с кем. Надоели, собаки. Как за стол сели, особенно хоть один латыш затесался, так и все. Народный фронт, за независимость, да вот танки уйдут, да вот парламентская республика. А вот никуда они теперь не уйдут. Я же первый буду голосовать, чтоб остались. И Серега тоже. Да и все наши мужики на работе — точно так же. Я-то знаю, какой же дурак свой покой отдаст. А то ж ведь опять начнется — мигранты, мигранты, вон, долой, государственный язык. Мастер опять на курсы латышского погонит. А на фига мне этот латышский, как водяра называется, я и так знаю. Нет уж, на... вертел я вашу независимость! Песенки поете, флагами махаете — кого еще? В общем, спать мне пора. Щас бензинчика нюхнем — и в койку. Надо пораньше сегодня лечь, а то опять перед работой похмельиться не успею. Опять скажут — почему трезвый? Небось ночью листовки печатал? А не пар бриву ли ун неаткаригу? И талон в публичный дом почему не использовал? Смотри у меня, Кудрявцев, допрыгаешься. Спать.

Хотя нет, айн момент. (А эти все ржут.) Да где же... а, идет. Лейтенантик инхий возвращается. Ух ты, аж качает его. Видать, подруга — тот еще станочек. Совсем мужика замаяла. Схожу к нему. Ремень офицерский, мужики говорили, на презервативы можно обменять. СПИДа бояться, гады. А у меня как раз штук тридцать этих гондонов завалюсь, самому-то не нужны, жена — баба надежная. Индийские, кох и нор. Возьмет лейтенантик, интересно? Должен взять. Пойду. Быстро. И спать, спать, спать.

* За свободную и независимую Латвию.

** Дом офицерского состава.

ЕВГЕНИЯ ОШУРКОВА

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

Солнце низко садится
За Обводный канал.
Тот, кто здесь не бывал,
Может здесь заблудиться.
Здесь начало начал,
Здесь не пахнет столицей.
Солнце низко садится
За Обводный канал.
Прибываешь под утро
На Варшавский вокзал,
И Обводный канал
Проявляется смутно,
И балтийская соль,
Что осела на губы,
И фабричные трубы,
Неприглядные столь.
Здесь смелее и жестче
Обрисован квартал,
Видно, здесь побывал
Свой особенный зодчий.
Перспектива и свет —
Это позже и после.
Их бы не было вовсе,
Да нельзя без побед.
И поэтому где-то
В полчаса езды
Пламенеют сады
В золоченых багетах,
Там — мечты наяву.
Здесь же дует устало
Ровный ветер с канала,
Не нашедший листву.

* * *

Взгляни, Марина, дождь с утра
Смывает мусор со двора.
У нас в отечестве хандра
Непоборима.
Уже темно в седьмом часу,
А значит, стужа на носу,
Но листья кружат, как в лесу,
Взгляни, Марина!

Ах, любо-дорого смотреть:
Уж треть успела облететь.
Постой, постой, уже не треть,
А половина.
И за окном, наверно, зря
В последних числах сентября
Пылает тусклая заря,
Взгляни, Марина.

Чтоб не наскучил белый свет,
Я знаю маленький секрет,
Которым сводится на нет
Гримаса сплина:
Не зря твердят из года в год:
«Кто что имеет — тем и горд».
Но здесь не пляс де ля Конкорд,
Взгляни, Марина.

Не все до чуда доживут
В Париже или даже тут.
Не всех дороги приведут
К воротам Рима,
И не меня благодари,
Что облетают сентябри.
Тут нам не врут календари,
Взгляни, Марина...

ТОПОЛЬ

А листья тополя осыпались давно
И начинается осенняя погода:
Дожди с восхода до восхода
Будут бить в мое окно.
И это все, что нам дано.

А ветки тополя от снега нележки.
Зима приходит полновластною хозяйкой
И улетают птички стайкой.
Что ж, мой друг, слагай стихи
Про наши летние грехи.

А почки тополя раскрылись по весне
И начинается любовь напропалую.
Тебя я больше не ревную:
Что за вздор, скажите мне,
Страдать и плакать при луне.

А листья тополя шумят себе, шумят.
Ах, ночи августа, какая в них истома...
Зовешь гулять меня из дома...
Не приду — ты будешь рад.
Потом начнется листопад.

И листья тополя осыпались опять
И начинается осеннее ненастье...
Друзья мои, какое счастье —
Все то, чего не миновать,
Легко мы можем предсказать.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Скажи спасибо, что сейчас зима:
Пройдет зима — потом настанет лето.
Скажи спасибо, что кругом дома:
От окон их тебе хватает света.
Когда мороз бесчинствует к утру,
Скажи спасибо, что снежок искрится,
И, прижимая варежку ко рту,
Скажи спасибо, что не минус тридцать.
Скажи спасибо, что пришел трамвай.
«Эй, граждане, не стойте на проходе!»
Скажи спасибо, что теперь январь:
Зимую ничего не происходит.
Как неприметно утро января!
Скажи спасибо, что на стеклах наледь.
Случайной встречи ты боишься зря —
Вы все равно друг друга не узнали б.
... Что за привычка раны беречь?
Скажи спасибо, если в сердце холод.
Скажи спасибо — скоро выйдешь.
Скажи спасибо — впереди выйдут.
... Что за привычка рифмовать слова?
А впрочем, ей скажи спасибо, ибо
Скажи спасибо, что еще жива.
Скажи спасибо.

Говорю спасибо.

* * *

на берегу отравленной реки
растет лесок скрывая купол церкви
где столько раз весной закаты меркли
на берегу отравленной реки
где строго воспрещается купаться
у этой церкви не толпится паства
на берегу отравленной реки
народу вообще бывает мало
хоть есть подобье некое причала
на берегу отравленной реки
отравленной не вовсе но на грани
того чтоб смельчаки не загорали
на берегу отравленной реки
здесь из кустов еще взлетает птица
но из ручья уже нельзя напиться
на берегу отравленной реки
все ручейки бегущие с откоса
находятся во власти минкомхоза
на берегу отравленной реки
когда-то внемля голосу природы
садил здесь горожанин огорода
на берегу отравленной реки
но в лето черныбыльской катастрофы
вдруг буйно заросли травой тропы
на берегу отравленной реки
и в огородах лопухи со снытью
как будто вторят этому событию
на берегу отравленной реки
ты спутницу свою поторопи-ка
вернуться здесь кончается тропинка
на берегу отравленной реки
за проволочной сеткой неизменной
здесь размещен аэродром военный
на берегу отравленной реки
пойдем назад там есть одна картина
сирень цветет и висится руина
на берегу отравленной реки
вот это мог бы написать Мусатов
вдруг окажись он у моих пенатов
на берегу отравленной реки

М. АГЕЕВ

РОМАН С КОКАИНОМ

(Продолжение)

Я иду к столу. Пока я делаю шаг, пока сгибаю в колене и снова в тугой боязни ставлю ногу, мне мое движение кажется столь мучающе длительным, будто оно никогда не закончится. Но когда шаг уже сделан, когда движение уже закончено, то оно, — это свершившееся движение, кажется мне в моем воспоминании столь призрачно мгновенным, словно ни его, ни сопровождавших его усилий, совсем и не было. И я уже знаю: в этой мучающей длине свершаемого, и в этом призрачном пропадании уже свершившегося, — в этой большой двойственности проходит вся эта ночь.

Долгим и некончающимся кажется мне это одевание, это дрожащее влезание в рукава моей шинели, после того как я, срывающимся от ликования голосом, предлагаю Мику поехать вместе ко мне домой, взять там ценную вещь и выменять на новые порошки. Но вот уже шубы одеты, и мы в коридоре и будто и не было этих трудных усилий, затраченных на одевание. Долгим и мучающе некончающимся кажется это гибельное сходжение с лестницы, словно покрытой скользким льдом, на которой ноги мои едва сдерживаются, чтобы не поскользнуться, и в то же время дергающе торопятся, будто позади их грозит укусы собака. Но вот мы уже внизу, и будто и не было ни этих усилий, мучающих и дрожащих, ни этой лестницы, — словно мы из комнаты напрямик вышли на улицу. Долгими и некончающимися кажутся и эта езда по пустому, визжащему от мороза городу, и этот донимающий спину озноб, и эти лохмотья пара, и эта золотая проволока фонарей, мокро вьющаяся в слезящихся глазах и отпрыгивающая, когда моргаю. Но вот мы уже у ворот и будто ничего этого и не было, словно из комнаты Хирге я напрямик вошел в эти ворота. Долгим и некончающимся кажется мне это дрожание в морозе перед сверкающей зеленой луной дверью, пока вспыхивает за нею желтый свет с сонно чухающимся Матвеем, это восхождение по лестнице, это отмыкание квартиры, это прокрадывание по черной передней и столовой в тихую спальню матери, и это сладостное дрожание при этом любви к матери, такой любви, такой любви, какой никогда и не знал и не чувствовал, и в такой радости, в таком обожании, будто и крадусь-то я только за тем, чтобы сделать ей, — маме, что-то доброе, хорошее, спасительное. Безконечным кажется это подкрадывание к зеркальному бельевому шкапу, который, чтобы он не скрипел, я раскрываю не медленно, не осторожно (от этого он скрипит еще больше), — а рывком, сразу, так что в распахнутую зеленую дверцу влетает спящая голова матери под лампадой и потом качается. Бесконечным, мучающим, некончающимся, а под конец призрачным и словно небывшим кажется все: и поиски в белье с запахом дешевой карамели, и нахождение броши, и возвращение обратно по

(Продолжение. Начало см. в № 6, 1989.)

лестнице, которая опять из скользкого льда, и сразу угроза собаки, и прохождение мимо Матвея, который будто нарочно старается заглянуть в мои страшные глаза, и странно трудное шагание по длинному заснеженному двору (я только у саней замечаю, что все еще иду на цыпочках), и влезание в сани в дрожащей пугливости, что они дернут, и я сяду мимо, и возвращение обратно сюда, в эту нагретую тишину комнаты.

В затылке у меня чувство закованной сжатости. Глаза моргающе напряжены, как при быстрой ходьбе в темноте, когда мучает ожидание наткнуться на что-то острое. Ни частое моргание, ни ясная видимость предметов, не облегчают. Я закрываю глаза, но их напряженность перенимают веки: они ноют, словно ждут удара.

Я стою у стола. Чем дольше я стою, тем шибче каменею, тем труднее мне сдернуть себя с места. В эту кокаинную ночь все мое тело то каменеет в неподвижности, и мне трудно сдернуться, то устремляется к дергающемуся движению, и тогда мне трудно остановиться: по улице с Миком трудны были только первые шаги, но потом все во мне дергающе заходило, ноги зашагали электрически, и безумно, безумно росло глухое раздражение, когда впереди случался прохожий; обойти боюсь, то-ли опрокину прохожего, то-ли задену за дом и опрокинусь сам, — а приутишить шаги не в моей власти.

Вот в комнату входит Мик. В руках у него новые порошки кокаина, и он странными движениями прикрывает дверь, точно она может на него свалиться. Верхняя лампа потушена. В комнате почти мрак. В осеннем качающем свете свечи, между портьерой и шкапом втиснулись Нелли и Зандер. Их головы на вытянутых шеях. У Нелли кривая шея, ее голова вытянута вбок, и кажется как раз с этой стороны движется на нас грозные шорохи ночной квартиры. Глаза безумно стоят. В комнате все останавливается, у всех движутся только губы. — Тиштиштиштиш, — быстрым, сливающимся шепотом высвистывает Нелли. — Кто-то идет, — шепчет Зандер, — кто-то идет сюда, — шепотом выкрикивает он и голова его безостановочно трясется. И я уже заражен. Я уже тоже боюсь. Я уже тоже не могу вообразить ничего более страшного, как именно то, что сюда, в эту тихую, темную комнату придет шумный, бодрый и дневной человек и увидит наши глаза и всех нас в таком состоянии. И я чувствую: достаточно сейчас выстрелить, пронзительно закричать или дико залаять — и нежная ниточка, на которой держится мой тихо бушующий мозг, — порвется. Сейчас в этой ночной тишине, я особенно боюсь за эту ниточку.

Я сижу в кресле. Голова моя так напряжена, что мне кажется, будто она колышется. Мое тело заглодало, застыло, словно отпало от головы: чтобы почувствовать ногу или руку, я должен двинуть ими.

Вокруг меня люди, много, очень много людей. Но это не галлюцинация: я вижу этих людей не вне, а внутри себя.

Здесь студенты, учащиеся женщины и другие, но все какие-то странные: косые, кривые, безносые, волосатые, бородатые. — Ах, профессор, — восторженно кричит курсистка (профессор это я) — ах, профессор, пожалуйста, сегодня о спорте. Она об одном глазу и протягивает мне издалека руки. Кривые, косые, бородатые, волосатые, все такие, которым нельзя и страшно раздеться, — вопят: — да, профессор, да, о спорте — да, про спорт — дайте определение, что такое спорт. Я небрежно улыбаюсь и кривые, косые, бородатые, волосатые круто стихают. — Спорт, господа, это есть затрата физической энергии в непрерывных условиях взаимного соревнования и совершенной непроизводительности. Безрукие, кривые, косые дико орут — «дальше» — «еще-еще» — «дальше». Ученая женщина об одном глазу локтями бьет по мордам, приговаривает — простите, коллега, — и продирается к моей кафедре. Я поднимаю руку. Тишина. — Для нас, господа, — шепчу я, — важен не спорт, не его сущность, а степень его воздействия, его влияние на общество, и даже, если угодно, не государство. Вот почему, в ознаменование намеченной темы, позвольте мне сказать несколько слов, относящихся не к спорту, а к спортсменам. Не думайте, что я имею в виду только спортсменов профессионалов, таких, которые берут деньги за свои выступления и от этого живут. Нет. Ведь важно не только от чего, но во имя чего живет человек. Поэтому под спортсменами, о которых я говорю, я разумею решительно всех нам известных, независимо от того, является-ли для них спорт профессией или призванием, средством к существованию или целью их жизни. Достаточно только обратить внимание на все растущую популярность таких спортсменов, чтобы признать, что уже не просто успех, а уже истинное обожание этих людей захватывает все большие круги общества. Об этих людях пишут газеты, их лица фотографируются, — (при чем здесь лицо), — появляются в журналах, и, кажется, уже очень немного недостает чтобы люди эти стали национальной гордостью. Можно еще понять, если нация гордится своими Бетховенами, Вольтерами, Толстыми — (хотя и то, при чем здесь нация), — но чтобы нация гордилась тем, что ляжки у Ивана Цыбулькина здоровее, чем у Ганса Мюллера, — не кажется ли вам, господа, что подобная гордость свидетельствует не столько о силе и здоровье Цыбулькина, сколько о немощи и болезни нации. Ведь если Иван Цыбулькин имеет успех, — то ясно, что каждый, кто этому Ивану с таким подозрительным обожанием апплодирует, уже одними своими хлопками всенародно заявляет свою восторженную готовность поменяться своей жизненной ролью с тем, к кому относятся его апплодисменты, и что чем больше таких апплодирующих людей, тем ближе ведет все это к повороту в общественном мнении, и тем самым во всей нации, которая выберет своим идеалом и захочет стать Иваном Цыбулькиным, единственной и общепризнанной заслугой которого будут его ужасно здоровые ляжки.

Бесчисленное множество раз шепчу я эти слова. И мне хочется сдержать эту ночь, мне так хорошо и так ясно во мне, я так непомерно влюблен в эту жизнь, мне хочется все замедлить, долго откусывать обожание каждой секунды, но уж ничто не останавливается, и вся эта ночь неудержимо и быстро уходит.

Сквозь щели портьер я вижу разсвет. Под глазами и в скулах пустота и тяжесть. Все как-то грузно останавливается вокруг меня и во мне. В носу все жадно раскрыто, тоскующе пусто до самого горла, и дыхание больно царапает — не то воздух слишком жесток, не то внутренность носа стала слишком нежна. Я пытаюсь отогнать эту все тяжче наваливающуюся на меня тоску, я пытаюсь вернуть мои мысли, мои восторги и восторги бородатых слушателей, но в памяти моей возникает вся эта ночь, и мне делается так стыдно, так срамно, что впервые правдиво и искренно я чувствую, что не хочу больше жить.

На столе, где разбросаны игральные карты, я начинаю искать пакет с кокаином. Все карты лежат рубашками

вверх. Осторожно я раздвигаю их, опрокидываю одну, начинаю разбрасывать, наконец, бессмысленно рвать, от отсутствия кокаина испытывая все больший ужас от этой страшной тоски. Но кокаина, конечно, нет. Его унесли Мик и Зандер. В комнате никого нет. Я не сажусь, я падаю на диван. Пригнутый я страшно дышу, — вдыхая, поднимаюсь, выдыхая опадаю, словно этим вонзающимся столбом воздуха могу охладить огонь отчаяния. И только хитрый бесенок в дальнем и глубоком тайничке моего сознания тот самый, который продолжает светить и не тухнет даже при самом страшном урагане чувств — только этот хитрый бесенок говорит мне о том, что надо смириться, что не надо думать о кокаине, что думая о нем и в особенности о возможности его наличия здесь в комнате, я еще только больше раздражаю, только еще ужаснее мучаю себя.

В страшной, в никогда еще небывалой тоске, я закрываю глаза. И медленно и плавно комната начинает поворачиваться и падать одним углом. Угол опускается глубже, проползает подо мной, лезет подо мной, лезет позади меня вверх, появляется надо мной и снова, но уже стремительно падает. Я раскрываю глаза, комната вонзается на место, сохранив свое кружение в моей голове. Шея не держит, голова моя обваливается на грудь, повертывает комнату вверх ногами. — Что они сделали, что они сделали со мной, — шепчу я и потом, бессмысленно помолчав, еще говорю: — что ж, я пропал. Но уже хитрый бесенок, тот самый, который — (если только к нему прислушаться) — даже самые радостные чувства отравляет сомнением, — а самое ужасное отчаяние облегчает надеждой, — этот хитрый, ни во что не верящий бесенок мне говорил: — все твои слова это театр, все это только театр; пропасть ты не пропал, а ежели тебе худо, так одевайся и иди на воздух; здесь тебе сидеть нечего.

5.

На улице было еще сумеречно. Небо, грязно малиновое, висело низко. Меня обогнал трамвай, — сквозь его заснеженные стекла расплюснутыми апельсинами просвечивало горевшее в вагоне электричество. Позади трамвая опавшая сетка бороздила и белой струей снега била верх. Мне представилось, как в вагоне, звонко потрескивающим от мороза, где кисло пахнет мокрым сукном, тесно сидят и стоят люди и опыхивают друг друга густыми парами своего утреннего, гнилью пахнущего дыхания. Впереди меня шел старик с палкой. Он часто останавливался, подпирался палкой в живот и подолгу и хрипло харкал. Глаза его, когда он останавливался и кашлял, смотрели на снег так, словно видели там нечто ужасное. И каждый раз, когда он выхаркивал зеленое, — мое горло делало глоток, и мне представлялось, что я глотаю то самое, что он сплевывает. Никогда не думалось мне, что человек, что все люди могли бы внушать такое непомерное отвращение, как я это чувствовал в это утро.

На углу ветер трепыхал афишей на театральном столбе. Когда я вошел в его полосу, то мимо гремевшего цепями грузовика — через улицу перебежала девочка. На другой стороне тротуара мать видимо закаменела в страхе, но когда ребенок невредимо добежал до нее, то она больно схватила его за руку и тут же побила. Сделав глаза щелками и рот четырехугольником — ребенок ревел. Все было ясно: мать скверно мстит своему ребенку за тот страх, который она по его вине почувствовала. Но если таково то лучшее, чем хвастается человек, — мать, то каковы же остальные люди.

На улице посветлело и уже стало утро, когда я вошел к себе во двор. На дорожке был свежо посыпан яркий желтый песочек, на котором чьи-то новые калоши вдавили оспенные следы. Садик для господ был запущен и грязен. От сброшенного туда со всего двора снега он приподнялся над двором и в нем укоротились деревья. В снегу этом беспорядочно лежали мокрые черные доски и только с трудом можно было признать в них, затонувшие в сугробах, сиденья скамеек.

Матвей чистил мелом дверную ручку, свободной рукой дергая совершенно так же, как и той, что совершал работу, но когда я приблизился, — зазвонил телефон, и он сбежал в будку. Я поднялся по лестнице и отпер дверь. Бросив фуражку на подставку висячего зеркала, которое закачало обеденный стол с неубранным с вечера самоваром, — стараясь ступить тише, я прошел по корридору и вошел к себе в комнату:

В первое мгновение меня удивило, что у окна еще горит лампа, и я даже попытался припомнить — когда же я ее забыл потушить. Но уже из кресла, руками тяжело опираясь на ручки, мне навстречу поднялась моя мать. Глядя мне пристально в глаза, она медленно приближалась. Я посмотрел в ее глаза и сразу вокруг меня стало ужасно тихо. В кухне, лопающимися струнами, капал водопровод. — Вор, — едва шевельнув губами на желтом личике, сказала мать. Она сказала это страшное слово отчетливым шепотом и даже не зажмурилась, когда, — подчиняясь какой-то внешней необходимости действий, одновременно выполняя и ужасаясь ею, — размахнулся и ударил ее по лицу. — Мой сын вор, — спокойно и горестно, словно рассуждала сама с собой, прошептала мать, и страшно трясая седой головой и помедлив точно ожидая, не ударю ли я еще раз, медленно с жалко висящими плечами и руками, пошла к двери.

Под каменным подоконником в трубах отопления что-то щелкало, шипело, лилось. Оттуда шла душная теплота. На столе, не давая света, в лампе желто тлела проволока. Нос мой запах, не пропускал дыхания. А за окном соседний дом начал морщиться; его труба оторвалась и мокро расплзлась в металлических небесах. Но я не старался сморгнуть заливавшие глаза слезы.

Через полчаса я подходил к дому, где жил Яг. У подъезда стоял извозчик, нагруженный чемоданами. Рядом, одетый по дорожному, суетился Яг со своей «испанкой». Завидя меня и путаясь в огромной своей дохе, он подбежал мне навстречу и обнял меня. В двух словах я рассказал, что дома у меня случилась неприятность, что я, можно сказать, остался без крова, и Яг с бодрой возбужденностью человека, торопящегося в отъезд, даже не дав мне досказать до конца, и восклицая, что это прекрасно, и даже, вот истинный Господь, очень даже кстати предложил мне немедленно же поселиться в его комнате.

Крепко сжимая мою руку, он потащил меня в дом, на ходу буркнул выносившей баул горничной, что все три месяца, которые он пробудет в Казани, в его комнате буду жить я, — все также бегом протащил меня по лестнице и потом сквозь залу до своих дверей, вставил ключ, с сердитым видом сунул мне в руку пачку денег, повторяя при этом ни-ни-ни, и еще раз поспешно обняв меня и извинившись, что боится опоздать на поезд, махнув рукой убежал.

Оставшись один и отперев дверь, я со странным чувством вошел в свое новое жилище. Все произошло слишком быстро и от бессонной ночи меня гадко мучило. В комнате был беспорядок, какая-то покинутость и тоска отъезда. На столе стояли грязные тарелки, остатки ужина и куски хлеба. Я отломил кусочек, но лишь только почувствовал его во рту, как тут же, не разжевывая, проглотил, ощутив небывалую пустоту и дергающую воздушность в скулах. Впервые узнавая, что значит голод после кокаина, я стал жадно есть, руками обрывая сальное мясо, — обморочно дрожа рукой и шеей, напихивая рот, проглатывая снова, набивал, испытывая желание рычать и в то же время чувствуя нервный хохоток над этим желанием. А когда съев и сразу сонно отяжелел, хотя мог еще съесть много, доплелся до дивана и лег, то тотчас в протянутых ногах что-то мягко, недвижно задергалось. И приснилось мне, как моя бедная старая мать, в рваной шубенке шагает по городу и мутными и страшными глазами ищет меня.

Выспавшись, я уже на следующее утро снова поехал к Хирге, купил у него полтора грамма кокаина, и так это пошло дальше, — изо дня в день. Но невольно, лишь только записал я сейчас все эти слова, как тотчас, с чрезвычайной явственностью, мне представилась презрительная улыбка на лице того, в чьи руки попадут эти мои печальные записки.

В самом деле, я чувствую, что эти самые слова, или, вернее, мои поступки, которые должны характеризовать силу кокаина, — для каждого нормального человека, с гораздо большей вероятностью, будут характеризовать только мою собственную слабость, и, таким образом, уж непременно возбуждают отчуждение; обидное, презрительное отчуждение, возникающее даже в самом чутком слушателе, лишь только он начинает сознавать, что то самое стечение обстоятельств, которое погубило жизнь рассказчика, ни в коей мере (случись с ним, со слушателем, нечто подобное) не могло бы испортить или изменить его собственную жизнь.

Все это я говорю, исходя из того, что точно такое же презрительное отчуждение почувствовал бы я сам, не случись со мной этой первой кокаиновой пробы, и что только теперь, вступив на дорогу моей гибели, я знаю, что подобное презрение возникло бы во мне не столько вследствие возмущения мною моей личности, сколько по причине недооценки силы кокаина. И так — сила кокаина. Но в чем, в чем же выражается эта сила?

За долгие ночи и долгие дни под кокаином в ягиной комнате, мне пришла мысль о том, что для человека важны не события в окружающей его жизни, а лишь отражаемость этих событий в его сознании. Пусть события изменились, но, поскольку их изменение не отразилось в сознании, такая их перемена есть нуль, — совершеннейшее ничто. Так, например, человек, отражая в себе события своего обогащения, продолжает чувствовать себя богачем, если он еще не знает, что банк, хранящий его капиталы, уже лопнул. Так, человек, отражая в себе жизнь своего ребенка, продолжает быть отцом, раз до него не дошла еще весть, что ребенок задавлен и уже умер. Человек живет, таким образом, не событиями внешнего мира, а лишь отражаемостью этих событий в своем сознании.

Вся жизнь человека, вся его работа, его поступки, воля, физическая и мозговая силы, все это напрягается и трясется без счета и без меры только на то, чтобы свершить во внешнем мире некое событие, но не ради этого события как такового, а единственно для того, чтобы ощутить отражение этого события в своем сознании. И если ко всему этому добавить еще, что в этих стремлениях человек добивается свершения лишь таких событий, которые, будучи отражены в его сознании, вызовут в нем ощущение радости и счастья, — то непосредственно обнажается весь механизм, двигающий в жизни решительно каждым человеком, совершенно независимо от того — дурень и жесток, или хорош и добр этот человек.

Иначе говоря, если один человек стремится свергнуть царское, а другой революционное правительство, если один желает обогащаться, а другой раздать свои богатства бедным, то все эти противоречивые устремления свидетельствуют лишь о разнообразии рода человеческой деятельности, который в лучшем случае (да и то не всегда) мог бы служить в виде характеристики каждой личности в отдельности, причина же человеческой деятельности, как бы эта деятельность ни была разнообразна, всегда одинакова: потребность свершения во внешнем мире таких событий, которые, будучи отражены в сознании, вызывают ощущение счастья.

Так было и в моей маленькой жизни. Дорога ко внешнему событию была намечена: я желал стать знаменитым адвокатом и богачем. Казалось, мне бы оставалось только идти и идти по этой дороге, тем более, что многое (как я себя в этом уговаривал) весьма благоприятствовало мне. Но странно. Чем дальше я пробивался по пути к заветной цели, тем чаще случалось так, что в темной комнате я ложился на диван, и сразу воображал себя все тем, чем желал стать, инстинктом лени и мечтательности познавая, что осуществление всех этих внешних событий не стоит такого громадного количества времени и труда, не стоит хотя-бы уже потому, что ощущение счастья было бы тем сильнее, чем быстрее и неожиданнее свершились бы вызывающие его события.

Но такова была уже сила привычки, что даже в мечтах о счастье, я прежде всего думал не об ощущении счастья, а о таком событии, которое (свершись оно), вызовет во мне это ощущение, не будучи в силах отделить эти два элемента друг от друга. Даже в мечтах я принужден был прежде всего вообразить себе какое-нибудь замечательное событие в моей будущей жизни, и лишь затем, картиной этого события, получал возможность радостно будоражить в себе ощущение счастья.

Все дело заключалось в том, что до моего знакомства с кокаином я ошибочно полагал, будто счастье — это есть нечто целое, между тем, как на самом-то деле всякое человеческое счастье состоит из хитрейшего слияния двух элементов: 1) физического ощущения счастья и 2) того внешнего события, которое является психическим возбудителем этого ощущения.

И только тогда, когда я впервые испробовал кокаин, мне стало ясно. Мне стало ясно, что то внешнее событие, о достижении которого я мечтаю, ради свершения которого тружусь, трачу всю мою жизнь, и, в конце концов, быть может, его не достигну, — это событие необходимо мне лишь постольку, поскольку оно, отражаясь в моем сознании, возбудит во мне ощущение счастья. И если, как я в этом убедился, крохотная щепотка кокаина способна и в единый миг возбуждает в моем организме это ощущение счастья в никогда неиспытанной раньше огромности, то тем самым совершенно отпадает необходимость в каком бы то ни было событии, и следовательно бессмысленными становятся труд, усилия и время, которые, для осуществления этого события, нужно было бы затратить.

Вот эта-то способность кокаина возбуждать физическое ощущения счастья вне всякой психической зависимости от окружающих меня внешних событий даже тогда, когда отражаемость этих событий в моем сознании должна была бы вызывать тоску, отчаяние и горе, — вот это-то свойство кокаина и было той страшной притягательной силой, бороться и противостоять которой я не только не могу, но и не хотел.

Бороться и противостоять кокаину я мог бы только в одном случае: если бы ощущение счастья возбуждалось бы во мне не столько свершением внешнего события, сколько той работой, теми усилиями, тем трудом, которые, для достижения этого события, следовало затратить. Но этого в моей жизни не было.

3.

Само собою разумеется, что все вышесказанное о кокаине нужно понимать отнюдь не как мнение о нем вообще, а лишь как мнение об этом яде такого человека, который только-только начал нюхать. Такому человеку и в самом деле кажется, что основное свойство кокаина — это есть способность возбуждать ощущение счастья; — так непойманная мышь уверена, что основное свойство мышеловки это тот кусок сала, который ей хочется съесть.

Самым ужасным и неизменно следующим после много-часового действия кокаина явлением — была та мучитель-

ная, неотвратимая и страшная реакция (или, как медики ее называют, депрессия), которая овладевала мною тотчас, лишь только кончался последний порошок кокаина. Реакция эта продолжалась долго, на часах длилась примерно в течении трех, иногда четырех часов, и выражалась в такой мрачной в такой смертной тоске, что хоть разум и знал, что через несколько часов все это пройдет и выветрится, но чувство в это не верило.

Известно, что чем сильнее чувство, овладевающее человеком, тем слабее способность самонаблюдения. Пока я находился под действием кокаина, чувства, возбуждаемые им, были настолько могущественны и сильны, что моя способность наблюдения за собой ослабевала до степени, как это возможно наблюдать только у некоторых душевнобольных. Таким образом чувства, владевшие мною, пока я находился под кокаином, уже не сдерживались ничем и полностью, вплоть до идеальной искренности, вылезали наружу, проявляясь в моих жестах, и в моем лице, и в моих поступках. Под кокаином до таких громадных размеров выросло мое чувствующее Я, что самонаблюдающее Я прекращало работу. Но лишь только кончался кокаин, как возникал ужас. Ужас этот заключался в том, что я начинал видеть себя, видеть таким, каков я был под кокаином. И вот наступали страшные часы. Тяжело опадало тело, в злостном отчаянии от невыразимой, неизвестно откуда взявшейся, тоски ногти врезались в ладони, а память, как в тошноте, возвращала обратно все, и я смотрел, не мог не смотреть на эти видения зловещего срама.

Вспоминалось до мельчайших подробностей все. И мое замерзшее состояние у двери этой тихой комнаты под кокаином в ночи, в идиотической, но непобедимой тревоге, что вот-вот кто-то идет, и войдет сюда, и увидит мои ужасные глаза. И, кажется, часами длаящееся подкрадывание мое к темному, с неопущенной шторой, ночному окну, сквозь которое, лишь только я отвернусь, кто-то страшно заглядывает, хоть я и знаю, что окно это во втором этаже. И тушение лампы, которая своим чрезмерно ярким светом, словно звучанием беспокоит, зовет сюда людей, и вот уже чудится мне, что кто-то крадется по коридору к моей тоненькой, хрупкой двери. И лежание на диване с напряженной шеей и неопускающейся головой, словно от прикосновения ее с подушкой произойдет грохот, который поднимет весь дом, между тем, как измученные, ноющие в ожидании наткнуться на острое глаза пронзительно смотрят в красную, в трясущуюся тьму. И чирканье во тьме спички, которую иззябшая в ознобе и тугая рука так боязливо трет о коробку, что та никак не зажигается, а когда наконец протяжно шипя вспыхивает, то дико отпрыгивается тело, и спичка выпадает на диван. И каждые десять минут потребность новой понюшки, когда с лежащей где-то тут на диване, но неизведомой во тьме бумажки похулевшие за ночь руки трясясь соскабливают кокаин на тупую сторону стального пера, с которого, после того, как это перо (приподнимаемое во тьме дрожащей рукой), уже трясется у самой ноздри — ничего не втягивается и в нос не попадает, потому что перо от последнего раза намокло, кокаин его облепил, затвердел, пустил кислую ржавчину. И потом разсвет и все более отчетливая видимость предметов, нисколько не распускающая мышц, а напротив, еще большая скованность движений и всего тела, тоскующего по скрывающейся, точно одеялом прикрывающей его тьме — теперь, когда и лицо и глаза подвергаются необходимости быть видимыми на этом белом свете. И бесчисленные позывы мочи, когда становилось необходимым, преодолевая пугливую скованность тела, тут же в комнате ходить на горшок, от производимого будто на ведь дом чудовищного шума оскалывать сжимающиеся, замороженные зубы, в липком, в непривычно остро пахнущем, в зловонном поту, как на ледяную гору, дико трясясь от озноба, лезть в темноте на диван, подчас на грохнувшей пружине испуганно застывая воткнутым коленом до следующего позыва. А дальше утро, вылизывание ржавого пера, сухой взлет свежей по-

нюшки из нового порошка, легкое головокружение и тошнота в наслаждении, и ужас от первого чужого шума проснувшихся в доме людей. И, наконец, стук в дверь, редкий, размеренный, настойчивый, — и мой кашель, сотрясающий влезшее в диван потное тело, необходимый, чтоб выдернуть застрявший голос, и дальше мой трепещущий от счастья (несмотря на ужас) голос сквозь зубы — кто там, что нужно, неумолимый, и вдруг, и вдруг мгновенное перемещение этого стука, потому что за окном колят дрова.

Каждый раз, лишь только кончался кокаин, возникали эти видения, эти картинные воспоминания о том, каким я был, как выглядел и как себя странно вел, — и вместе с этими воспоминаниями все больше и больше росла уверенность, что очень и очень скоро, если не завтра, то через месяц, если не через месяц, так через год — я кончу в сумасшедшем доме. С каждым разом я все увеличивал дозу, нередко доводя ее уже до трех с половиной грамм, тянувших действие наркоза в течении, примерно, двадцати семи часов, но вся эта моя ненасытность с одной, и желание отдалить ужасные часы реакции с другой стороны, делали эти, возникавшие после кокаина, воспоминания все более и более зловещими. Увеличение ли дозы, расшатанный ли ядом организм, или и то, и другое вместе было тому причиной, — но та внешняя оболочка, которую выделяло наружу мое кокаинное счастье, становилось все страшнее и страшнее. Какие-то странные мании овладевали мною уже через час после того, как я начинал нюхать, — иногда это была мания поисков, когда кончался коробок со спичками и я начинал искать их, отодвигая мебель, опоражнивая ящики стола, при этом заведомо зная, что никаких спичек в комнате нет, и все же с наслаждением продолжая поиски в течении многих часов беспрерывно, — иногда это была мания какой-то мрачной боязни; ужас который усугублялся тем, что я сам не знал, чего или кого я боюсь, и тогда долгими часами, в диком страхе, сидел я на корточках у двери, внутренне раздираемый с одной стороны невыносимой потребностью свежей понюшки кокаина, который я оставил на диване, с другой — страшной опасностью хотя на короткое мгновение оставить без присмотра охраняемую мною дверь. Иногда же, а за последнее время это стало случаться часто, все эти мании овладевали мною сразу, — тогда нервы доходили до последней возможности напряжения, — и вот однажды (это случилось глубокой ночью, когда в доме спали, и когда я, приложив ухо к щели, сторожил дверь), в коридоре вдруг что-то гулко по ночному ухнуло, одновременно во мраке моей комнаты возник протяжный вой, и только спустя мгновения я понял, что вою-то это я сам, и что моя же рука зажимает мне рот.

4.

Один страшный вопрос тяготил надо мной все это кокаинное время. Вопрос этот был страшен, ибо ответить на него обозначал или тупик, или выход на дорогу ужаснейшего из мировоззрений. И мировоззрение это состояло в том, что оскорбляло то светлое, нежное и чистое, искреннее и в спокойном состоянии, не оскорблял даже самый последний негодяй: человеческую душу.

Толчек к возникновению этого вопроса, как это часто бывает, начинался с пустяков. Казалось бы и вправду, — ну что в такой вещи особенного. Что особенного в том факте, что за время, пока действует кокаин — человек испытывает высоко человеческие, благородные чувства (истеричную сердечность, ненормальную доброту и проч.), а как только кончается воздействие кокаина, так тотчас человеком овладевают чувства звериные, низменные (озлобленность, ярость, жестокость). Казалось бы, ведь ничего особенного в такой смене чувств нету, — а между тем именно эта-то смена чувств и наталкивала на роковой вопрос.

В самом деле, ведь то обстоятельство, что кокаин воз-

буждал во мне лучшие, человечнейшие мои чувства — это я мог истолковать наркотическим воздействием на меня кокаина. Но зато как объяснить другое. Как объяснить ту неотвратимость, с которой (после кокаина) вылезали из меня низменнейшие, звериные чувства. Как объяснить такое вылезание, постоянство, и непременность которого невольно наталкивало на мысль, что мои человечнейшие чувства словно ниточкой связаны с моими звериными чувствами, и что предельное напряжение их, значит, затраченность одних влечет и тянет за собою вылезание других, подобно песочным часам, где опустошение одного шара — предопределяет наполнение другого.

И вот возникает вопрос: есть ли и знаменует ли собою такая смена чувств — лишь особое свойство кокаина, которое он моему организму навязывает, — или же такая реакция есть свойство моего организма, которое под действием кокаина лишь более наглядно проявляется.

Утвердительный ответ на первую часть вопроса — обозначал тупик. Утвердительный ответ на вторую часть вопроса — раскрывал выход на широченную дорогу. Ибо ведь очевидно, что приписывая такую острую реакцию чувств свойству моего организма (действием кокаина лишь более резко проявляемому), я тем самым принужден был признать, что и помимо кокаина, во всяческих других положениях, — возбуждение человечнейших чувств моей души будет (в виде реакции) вытягивать вслед за собой позывы озверения.

Фигурально выражаясь, я себя спрашивал: не есть ли душа человеческая нечто вроде качелей, которые, получив толчек в сторону человечности, уже тем самым подвергаются предрасположению откатнуться в сторону зверства.

Я пробовал подыскать какой-нибудь жизненно простой и подтверждающий такое предположение пример, и, как мне казалось, находил его.

Вот добрый и впечатлительный юноша Иванов сидит в театре. Кругом темно. Идет третий акт сентиментальной пьесы. Злодеи вот-вот уже третируются и потому, разумеется, на краю гибели. Добродетельные герои почти что гибнут и потому, как полагается, на пороге к счастью. Все близится к благополучному и справедливому концу, которого столь жаждет благородная душа Иванова и сердцем его бьется жарко.

В нем, в Иванове, под возбуждательным влиянием театрального действия, под влиянием любви к этим честным, прекрасным и кротко принимающим страдания человеческим экзemplарам, которых он видит на сцене и за счастье которых беспокоится, — все больше и больше напрягается и усиливается хрустальное дрожание его благороднейших, его человечнейших чувств. Ни мелкого будничного расчета, ни похоти, ни злобы не чувствует и не может сейчас, в эти блаженные минуты, как ему кажется, почувствовать добрый юноша Иванов. Он сидит в нерушимой тишине темного зрительного зала, он сидит с пылающим лицом, он сидит и радостно чувствует, как душа его сладко изнывает от страстной потребности сейчас-же, сию минуту, тут же в театре радостно пожертвовать собой во имя наивысших человеческих идеалов.

Но вот, в этой напряженной, в этой насыщенной дрожанием человеческих переживаний театральной темноте — сосед Иванова начинает вдруг громко и по собачьему кашлять. Иванов сидит рядом, сосед же все продолжает грохотать, этот харкающий звук назойливо лезет в ухо, и вот уже чувствует Иванов, как что-то страшное, звериное, мутное поднимается, растет в нем, захлестывает его. — Черт бы вас взял с вашим кашлем, — ядовитым, змеиным шопотом, не выдержав, говорит наконец Иванов. Он говорит эти слова окончательно пьяный от страшного напора совсем необычной для него ненависти, и хотя и продолжает смотреть на сцену, но от ярости и остервенения на этого расквашившегося господина в Иванове все так дрожит, что в первые мгновения он еще не

старается снова настроиться, снова вернуть прежнее настроение, но еще отчетливо чувствует, как только мгновение тому назад в нем, в Иванове, было только одно, с трудом сдерживаемое желание: изничтожить, ударить, этого нудного и долго кашлявшего соседа.

И вот я спрашиваю себя: что же является причиной столь мгновенно хищнического осатанения души этого юноши Иванова. Ответ только один: чрезмерная возбужденность его души в лучших, в человечнейших и жертвеннейших чувствах. Но может быть это не так, говорю я, может быть, причина его озверения это кашель соседа. Но, увы, этого не может быть. Кашель не может быть причиной уже по одному тому, что закашлялся этот сосед, ну, хотя бы в трамвае, или еще где-нибудь (где Иванов находился бы в несколько ином душевном состоянии), то ни в каком случае добрый Иванов на него бы в такой ужасной мере не озлобился. Таким образом, кашель, в данном случае является только поводом к разрядке того чувства, к которому склоняло Иванова его внутреннее, его душевное состояние.

Но внутреннее, но душевное состояние Иванова, каково оно могло быть. Предположим, что мы, говоря о том, что он испытывал возвышеннейшие, человечнейшие чувства, — ошиблись. Поэтому откинем их и попробуем приставить к нему, к Иванову, все остальные, доступные человеку в театре чувства, одновременно сличая, насколько эти иные чувства могли бы склонить Иванова к такой звериной вспышке ненависти. Сделать этот опыт нам тем легче, ибо список этих чувств (если отбросить их нюансы), весьма невелик: нам остается только предположить, что Иванов, сидя в театре, или 1) злобствовал вообще, или же 2) находился в состоянии равнодушия и скуки.

Но если бы Иванов был бы озлоблен еще до того, как начал кашлять его сосед, если бы Иванов сердился на актеров за их дурную игру, или на автора за его безнравственную пьесу, или на самого себя за то, что истратил на такой скверный спектакль последние деньги, — разве он почувствовал бы такой звериный, такой дикий припадок ненависти к закашлявшемуся соседу. Конечно, нет. В худшем случае он почувствовал бы досаду на кашлявшего соседа, может быть, он даже пробормотал бы — ну, и вы тоже еще с вашим кашлем, — но такая досада еще ужасно далека от желания ударить, изничтожить человека, ненавидеть его. Таким образом, предположение о том, будто Иванов еще до кашля был сколько-нибудь озлоблен, и что эта-то его общая озлобленность склонила его к такой острой вспышке ненависти, — мы принуждены отстранить как негодное. Поэтому откинем это и попробуем предположить другое.

Попробуем предположить, что Иванов скучал, что он испытывал равнодушие. Может быть эти чувства склонили его к такому дикому припадку злобы на своего кашляющего соседа. Но это уже совсем не идет. В самом деле, если бы душа Иванова была бы в состоянии холодного безразличия, если бы Иванов, глядя на сцену, скучал, так разве он почувствовал бы потребность ударить соседа, ударить только потому, что тот закашлялся. Да не только он в этом случае не ощутил бы такого желания, а весьма возможно, так даже пожалел бы этого больного, кашляющего человека.

Чтобы покончить теперь с Ивановым, нам остается только пополнить досадный пробел, который мы допустили при перечислении доступных человеку в театре чувств. Дело в том, что мы не упомянули о (столь часто возникающем под влиянием театрального действия) чувства смешливости, в то время как оно-то, это чувство, особенно важно для нашего примера. Оно важно нам, ибо в полной мере устраняет возможный упрек, будто злоба Иванова на своего кашляющего соседа была обоснована: кашель, дескать, мешал ему слушать реплики актеров. Но разве Иванову (находясь он в состоянии смешливости), веселые реплики актеров, возбуждающие эту смешливость, были бы менее интересны и важны, разве он с

такой же настойчивостью, как в драме, к ним бы прислушивался? А между тем, в этом случае никакой кашель, никакое сморкание и прочие звуки соседа, если бы даже они и мешали, ни в коей мере не возбудили бы в нем желание этого соседа ударить.

Таким-то образом, силою вещей мы возвращаемся к прежнему, еще ранее высказанному предположению. Мы принуждены покорно признать, что только наисильнейшая душевная растроганность, и, значит, возбужденное дрожание в Иванове его жертвеннейших, человечнейших чувств причиняют в его душе вылезание этого неизменного, хищного, звериного раздражения.

Конечно, описанный здесь театральный случай несколько не может еще рассчитывать на то, чтобы убедить хотя бы даже самого доверчивого из нас. Ведь и в самом деле, справедливо ли говорить об общей природе человеческой души и приводить в пример озлобление какого-то единичного Иванова с его простуженным соседом, брать пример явно исключительный, в то время как тут же, в театре, сидит без малого тысяча человек, которые, так же, как и этот Иванов, под влиянием театрального действия прожили несколько часов в высоком напряжении их лучших душевных сил, — (поскольку, конечно, это театральное действие возбуждало не смех, не веселье, не восхищение красотой, а душевную растроганность). Между тем, достаточно нам взглянуть на этих людей, на их лица, — и во время антрактов и по окончании спектакля, и мы с легкостью убедимся, что люди эти несколько не испытывают никакого там осатанения, ни на кого не злобствуют, и никого не хотят ударить.

На первый взгляд это обстоятельство как будто бы здорово расшатывает все наше здание. Ведь мы же высказали предположение, будто возбужденная растроганность человечнейших и жертвеннейших чувств вызывает в людях предрасположение к хищному озлоблению, к возникновению неизменнейших инстинктов. И вот перед нами толпа театральных зрителей, людей, которые под влиянием театрального действия пережили возбужденность этих своих человечнейших чувств, мы видим, мы наблюдаем их лица и в моменты, когда вспыхивает свет, и, в особенности, когда они выходят из здания театра, а между тем, не находим в них ни тени не только озлобления, на даже намека на него. Таково наше внешнее впечатление, однако же, попробуем не удовлетвориться им, попробуем вникнуть глубже. Попробуем поставить вопрос иначе и установить: не объясняется ли это отсутствие в этих зрителях какого-либо хищнического инстинкта не потому вовсе, что его не было, а потому лишь, что звериный этот инстинкт в них удовлетворен, — удовлетворен совершенно так же, как это случилось бы с Ивановым, если бы он ударил своего соседа, а тот не оказал бы сопротивления.

Ведь совершенно очевидно, что только тогда театральное действие вызывает в зрителе растроганность и возбужденность человечнейших и лучших чувств его души, — когда в этом театральном действе участвуют персонажи людей сердечных, честных, и — несмотря на испытываемые страдания — кротких. (По крайней мере, так воспринимают участие таких персонажей те из зрителей, души которых наиболее непосредственны, впечатлительны и на которых поэтому с наибольшей отчетливостью можно наблюдать истинную природу душевного движения). Очевидно также и то, что на сцене наряду с такими ангельскими и кроткими персонажами, непременно воспроизводятся еще и типы коварных злодеев. И вот спрашивается: это, постоянно наступающее в конце спектакля во имя торжества добродетели, кровавое и жесточайшее карание злодеев на сцене, не оно ли съедает возникшие в нас хищнические инстинкты, и не выходим ли мы из театра кроткими и довольными не потому вовсе, что в наших душах не возникало никаких низменных чувств, а потому лишь, что чувства эти получили удовлетворение. Ведь в самом деле, кто из нас не признается

в том с каким наслаждением он кричал, когда в четвертом акте некий добродетельный герой втыкает нож в сердце злодея. — Однако, позвольте-ка, — можно здесь сказать, — да ведь это чувство справедливости. Именно оно: божественное, возвышающее человека чувство справедливости. Но до чего же оно, это возбуждение в нашей душе высшего, человечнейшего чувства, нас довело: до наслаждения убийством, до звериного злобствования. — Да ведь против злодеев, — возразят нам здесь. — Это не важно, — ответим мы, — а вот важно то, что кричать от удовольствия при виде пролития человеческой крови возможно только тогда, когда испытываешь кровожадность, злону, ненависть, — и если эти низменнейшие, эти отвратительные чувства возникли в нашей душе только потому, что разволновались наши человечнейшие чувства — любовь к страдающему и кроткому герою, если эта дикая озверелость наша тихонечко и незаметно вылезла из растроганности наших благороднейших чувств, которые разбередил в нас театр, — разве не показывает это уже с некоторой ясностью смутную, страшную природу наших душ.

В самом деле, достаточно ведь сделать попытку показать нам в театрах такие пьесы, в которых злодеи не только не наказываются, не только не гибнут, а напротив — торжествуют, — начните-ка нам показывать пьесы, где торжествуют худшие люди и погибают лучшие люди, и вы убедитесь на деле, что подобные зрелища в конце концов выведут нас на улицу, доведут до бунта, до восстания, до мятежа. Вы, может быть, и тут скажете, что мы взбунтуемся во имя справедливости, что нами руководит возбужденность в наших душах благороднейших, лучших, человечнейших чувств. Что же, вы правы, вы правы, вы совершенно правы. Но посмотрите же на нас, когда мы выйдем бунтовать, взгляните на нас, когда мы, обуреваемые человечнейшими чувствами наших душ, вознесем, взгляните внимательно в наши лица, в наши губы, в особенности в наши глаза, и если вы и не захотите признать, что перед вами разъяренные, дикие звери, то все же уходите скорее с нашей дороги, ибо ваше неумение отличить человека от скота — может стоить вам жизни.

И вот уже, как бы сам собой, назревает вопрос: ведь вот такие театральные пьесы, — пьесы, в которых побеждает порок и погибает добродетель, ведь эти пьесы — они же правдивы, ведь они же изображают настоящую жизнь, ведь именно в жизни случается так, что побеждают худшие люди, — так почему же в жизни мы, глядя на все это, остаемся спокойны и живем и работаем, — а когда эту же картину окружающей нас жизни нам показывают в театре, так мы возмущаемся, озлобляемся, звереем. Не странно ли, что одна и та же картина, проходящая перед глазами одного и того же человека, оставляет этого человека в одном случае (в жизни) спокойным и равнодушным, и возбуждает в нем в другом случае (в театре) возмущение, негодование, ярость. И не доказывает ли это наглядно, что причину возникновения в нас тех или иных чувств, которыми мы реагируем на внешнее событие, нужно отыскивать отнюдь не в характере этого события, а всецело в состоянии нашей души. Такой вопрос весьма существенный и на него следует точно ответить.

Дело, очевидно, в том, что в жизни мы подлы и неискренни, в жизни нас прежде всего беспокоит наше личное благоустройство, и поэтому-то в жизни мы льстим и помогаем, а подчас и сами воплощаем собой тех самых насильников и злодеев, поступки которых вызывают в нас такое ужасное негодование в театре. В театре зато, эта личная заинтересованность, это подленькое устремление к добыванию земных благ спадает с наших душ, в театре ничто личное не насилует благородства и честности наших чувств, в театре мы становимся душевно чище и лучше, и поэтому нами, нашими стремлениями и симпатиями, пока мы сидим в театре, всецело руководят наши лучшие чувства справедливого благородства,

человечности. И вот тут-то и напрашивается страшная мысль. Напрашивается мысль о том, восстанем, не звереем окончательно и не убиваем, во имя поправленной справедливости, людей, так это потому лишь, что мы подлы, испорчены, жадны и вообще плохи, — а что если бы в жизни, как и в театре, мы распалили бы в нас наши человечнейшие чувства, если бы в жизни мы стали бы лучше, так мы бы, — возбужденные дрожанием в наших душах чувств справедливости и любви к обиженным и слабым, — свершили бы, или почувствовали бы желание свершить (что решительно все равно, поскольку мы говорим о душевных движениях), такое количество злодеяний, кровопролитий, пыток и мстительнейших убийств, каких никогда еще не свершал, да и не хотел свершить ни один, даже самый ужасный злодей, руководимый целью обогащения и наживы.

И невольно в нас поднимается желание обратиться ко всем будущим Пророкам человечества и им сказать: — Милые и добрые Пророки! Не трогайте вы нас; не распалайте вы в наших душах возвышенных человечнейших чувств, и не делайте вообще никаких попыток сделать нас лучше. Ибо видите вы: пока мы плохи — мы ограничиваемся мелким подличаньем, — когда становимся лучше — мы идем убивать.

Поймите же, добрые Пророки, что именно заложенные в наших душах чувства Человечности и Справедливости и заставляют нас возмущаться, негодовать, приходиться в ярость. Поймите, что если бы мы лишены были чувств Человечности, так мы бы вовсе и не негодовали бы, не возмущались. Поймите, что не коварство, не хитрость, не подлость разума, а только Человечность, Справедливость и Благородство Души принуждают нас негодовать, возмущаться, приходиться в ярость и мстительно свирепеть. Поймите, Пророки, это механизм наших человеческих душ — это механизм качелей, где от наисильнейшего взлета в сторону Благородства Духа и возникает наисильнейший отлет в сторону Ярости Скота.

Это стремление взвить душевные качели в сторону человечности и неизменно вытекающий из него отлет в сторону Зверства, проходит чудесной и в то же время кровавой полосой сквозь всю историю человечества, и мы видим, что как раз те особенно темпераментные эпохи, которые выделяются исключительно сильными и осуществленными в действии взлетами в сторону Духа и Справедливости, кажутся нам особенно страшными в силу перебегающихся в них небывалых жестокостей и сатанинских злодейств.

Подобно медведю с кровавой, развороченной башкой толкающего висячее на бечеве бревно и получающего тем более страшный удар, чем сильнее он его толкает, — человек изнывает и уже устает в этом качании своих душ.

Человек изнывает в этой борьбе и какой бы он исход ни избрал: продолжать ли раскачивать это бревно, чтобы при какой-нибудь особо сильной раскачке окончательно разворотить себе башку, — или же остановить душевные качели, существовать в холодной разумности, в бездушии, следовательно в бесчеловечии и таким образом в полной утрате теплоты своего облика, — и тот и другой исходы предопределяют полное завершение Проклятия, которым является для нас это странное, это страшное свойство наших человеческих душ.

Когда в доме становилось тихо, на письменном столе горела зеленая лампа, а за окном была ночь, — с настойчивым постоянством возникали во мне эти мысли, и были они столь же разрушительны для моей воли к жизни, сколь разрушителен для моего организма был этот белый и горький яд, который в аккуратных порохках лежал на диване и возбужденно дрожал в моей голове.

(Окончание следует)



50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

